



Где проходит граница?

Аксель Панцер

Аксель Панцер

Где проходит "граница"?

<https://litres.ru/74622999>

SelfPub; 2026

Аннотация

Нюрнберг, 1946–1947 годы. Перед судом — врачи, учёные и чиновники Третьего рейха. За документами и показаниями открываются эксперименты на заключённых, программа «эвтаназии», заражения, переохлаждение и попытки оправдать совершённое приказом, войной, наукой и государственной необходимостью.

Врач Иоганн Келлер, работающий при обвинении, всё острее понимает: главный вопрос процесса не только в том, кто виновен. Где проходит граница между медициной и преступлением, долгом и совестью, законом и беззаконием? И остаётся ли человек ответственным за свой выбор, когда государство разрешает ему переступить эту границу?

Исторический роман о медицине, власти и личной ответственности.

Содержание

Части 1 и 2	4
Конец ознакомительного фрагмента.	106

Аксель Панцер

Где проходит "граница"?

Части 1 и 2

Часть I

Белые халаты

Пролог. Человек на столе

Нюрнберг, декабрь 1946 года

Во Дворце правосудия пахло угольной пылью, мокрой шерстью и старой бумагой. Здание пережило войну лучше большей части Нюрнберга, но и здесь окна были затянуты зимним светом, в коридорах тянуло холодом, а за толстыми стенами город всё ещё жил среди щебня, временных крыш и пустых глазниц домов. Доктор Иоганн Келлер сидел в маленькой комнате, которую американцы называли медицинским рабочим кабинетом, хотя от кабинета там были только стол, две лампы и металлический шкаф. Перед ним лежала папка с надписью на английском: ***HIGH ALTITUDE EXPERIMENTS*** (Высотные эксперименты - англ.). Он читал уже третий час. Давление. Высота. Пульс. Потеря сознания. Судороги. Смерть. Рядом с цифрами стояли номера заключённых. Иногда — возраст. Реже — фамилия. Почти никогда — имя.

За три часа бумага успела сделать с ним то, чего не смогли сделать годы фронтовой хирургии: заставила усомниться в собственной профессиональной привычке. На войне Келлер тоже записывал цифры. Давление — семьдесят на сорок. Пульс — сто сорок. Кровопотеря — приблизительно литр. Время операции — двадцать три минуты. Но каждая цифра там была способом удержать человека на этой стороне смерти. Здесь те же цифры сопровождали движение в обратную сторону. Чем точнее становилось наблюдение, тем меньше оставалось попытки спасти.

Он вспомнил молодого сапёра под Смоленском, которому осколок вошёл под ключицу. Келлер тогда шесть часов не снимал перчаток, ругался на сестру за задержанный плазмозаменитель, держал пальцами сосуд и почти ненавидел тело за то, что оно не желало подчиняться. Сапёр умер к утру. Келлер ещё неделю мысленно перебирал каждый свой шаг — где опоздал, что мог сделать иначе. В лежавшей перед ним таблице смерти не было ни одного признака такой борьбы. Смерть не являлась поражением врача. Она была конечной точкой опыта. Именно это впервые напугало его по-настоящему: не жестокость, а отсутствие профессионального поражения. Если врач перестаёт считать смерть человека собственным поражением, потому что смерть и есть запланированный результат, что тогда остаётся от профессии, кроме знаний и инструментов?

Келлер поймал себя на том, что автоматически оценивает

таблицу как врач. Где изменился ритм сердца. Когда появилась цианотичность. Насколько закономерно падало давление. Его раздражало это внутреннее профессиональное движение: сначала организм, потом человек. Именно так учили — иначе невозможно лечить. Но в этих бумагах человек исчезал окончательно. Там, где в клинике таблица должна была привести врача обратно к пациенту, здесь она уводила от него. Келлер закрыл папку и потёр глаза.

— Устали?

Капитан Томас Хардинг стоял в дверях с двумя чашками кофе.

— От кофе не откажусь.

— Это не ответ.

— Тогда да. Устал.

Хардинг поставил чашку перед ним и посмотрел на раскрытые документы.

— Вы сегодня впервые читаете материалы Дахау?

— Подробно — да.

— И?

Келлер взял кофе, но не пил.

— Если вы ждёте слова «ужасно», оно ничего не объяснит.

— А какое объяснит?

— Пока не знаю.

Он снова открыл папку и указал на строку.

— Смотрите. Здесь врач записал частоту пульса после по-

тери сознания. Потом — изменение дыхания. Потом — время смерти. Всё профессионально. Никакой истерики, никакой ненависти. Именно это хуже всего.

Хардинг сел напротив.

— Потому что выглядит как медицина?

— Потому что это и есть медицинское знание. Только цель другая.

Хардинг взял верхний лист двумя пальцами, будто и сам чувствовал его странный вес. Для юриста это был будущий экспонат: дата, источник, подпись, цепочка хранения. Для Келлера — гораздо больше. Лист никого не убивал. Чернила не открывали клапан и не держали человека в барокамере. Но бумага сохранила то, что человеческая память могла позднее отрицать: кто-то измерял, кто-то видел, кто-то записывал и считал увиденное достойным сохранения.

— Вы всё время говорите о бумаге так, будто она свидетель, — заметил Хардинг.

— Она и есть свидетель.

— Свидетель не отвечает на вопросы.

— Зато не меняет показаний из страха, стыда или желания спасти себя. Бумага ничего не чувствует. Поэтому иногда она страшнее человека.

Хардинг помолчал и вернул лист на место. Келлеру показалось, что в этот момент между ними установилось первое настоящее понимание. Американец искал в документах доказуемую связь. Немецкий врач — нравственную катастро-

фу. Обоим предстояло работать с одним и тем же материалом. За стеной кто-то передвинул стул. В коридоре прошли военные полицейские. Один из них рассмеялся — коротко, буднично. Келлер подумал, насколько трудно совместить обычный звук человеческой жизни с тем, что лежит перед ним на бумаге.

— Завтра увидите подсудимых, — сказал Хардинг.

— Я уже видел фотографии.

— Фотография удобна. На ней человек ничего не говорит. Келлер усмехнулся.

— Вы всё время пытаетесь сделать из меня философа.

— Нет. Нам нужен врач, который читает немецкие медицинские документы так, чтобы мы не перепутали термин с эвфемизмом.

— И всё?

— Этого достаточно.

Келлер посмотрел на папку.

— Нет, капитан. Недостаточно.

Он достал из внутреннего кармана небольшой блокнот. На первой чистой странице написал:

«Нюрнберг. Дело врачей».

Подумал и ниже вывел:

«Когда врач перестаёт видеть человека?»

Хардинг прочёл через плечо.

— Хороший вопрос.

— Плохой.

— Почему?

— Потому что ответ, скорее всего, окажется слишком простым.

— Или слишком сложным.

Келлер закрыл блокнот. Он не сразу вернулся к работе. За узким окном уже зажигались редкие огни, и Нюрнберг постепенно исчезал в ранних сумерках. Город был удобной метафорой, но Келлер боялся метафор не меньше Хардинга. Разрушенные стены легко заставляли думать о разрушенной нравственности, однако камень не несёт ответственности за то, что сделали люди. Камень можно восстановить по чертежу. С человеком, профессией, государством всё сложнее: невозможно просто вернуть прежний фасад и считать, что повреждение устранено.

Он думал о немецкой медицине до войны. О клиниках, которыми гордилась Европа. О профессорах, к которым приезжали учиться из других стран. О журналах, исследованиях, операциях, технической точности. Всё это существовало одновременно с постепенным проникновением расовой гигиены, стерилизационных программ, языка наследственной ценности. Значит, культура и образование не образовывали автоматической стены. Более того, высокий уровень организации мог сделать преступную идею опаснее, если профессионалы принимали её как задачу. Хардинг собирал бумаги в папку и заметил, что Келлер молчит.

— Уже пожалели, что согласились?

— Пока нет.

— А потом?

— Возможно. Но если уйти сейчас, бумаги всё равно останутся.

Он коснулся папки. Именно это становилось новым ощущением: люди могли умереть, скрыться, отказаться от прежних слов. Документ оставался. Не как судья, а как холодный остаток решения. И Келлеру предстояло научиться читать в этом холоде человеческую волю. Когда Келлер вышел из Дворца правосудия, город встретил его запахом влажного камня и дыма. В нескольких кварталах от суда женщина выносила из полуразрушенного дома ведро золы; двое мальчишек возились с колесом от велосипеда; из подвала, где устроили временную пекарню, тянуло хлебом. Нюрнберг упрямо возвращался к обыденности, и это казалось почти неприличным после таблиц смерти. Потом Келлер понял, что неприличным было бы обратное — если бы преступление получило право навсегда отменить обычную жизнь.

По дороге к дому фрау Леман он зашёл в аптеку за аспирином. Аптекарь, седой мужчина с усталым лицом, узнал в нём врача по разговору о дозировке и спросил, где тот работает. Келлер ответил уклончиво: «При суде». Мужчина сразу перестал улыбаться. В послевоенной Германии слова «суд» и «врач» рядом уже не требовали пояснения.

Ночью Келлер разложил на столе собственные старые медицинские записи, которые возил с собой ещё с фронта. Те

же аккуратные колонки, те же сокращения, тот же профессиональный почерк. Один лист относился к солдату, умершему после операции. Внизу Келлер когда-то приписал: «Не удалось стабилизировать». Он долго смотрел на эту фразу и думал, насколько многое скрывает любая профессиональная формула. Разница была в том, что он написал её с ощущением поражения. В материалах Дахау смерть не всегда была поражением. Иногда — результатом. Впервые за долгое время Келлер испугался не чужой жестокости, а того, насколько один и тот же язык способен служить противоположным целям.

За окном начинало темнеть. Над разрушенным Нюрнбергом висело низкое зимнее небо. В соседнем корпусе двадцать три человека готовились к суду, и большинство из них были врачами — образованными, дипломированными, привыкшими произносить слова «диагноз», «лечение», «прогноз». Келлер снова посмотрел на таблицу смерти. Ему показалось, что главный вопрос поставлен неверно. Не когда врач перестаёт видеть человека. Сначала нужно понять, как он убеждает себя, что всё ещё остаётся врачом. Келлер подумал о Карле Брандте — о том, как обвинение соединяет в одном тексте знакомые врачу слова «лечение», «эвтаназия», «исследование» со словами «убийство», «пытка», «преступление против человечности». Уже по структуре дела было ясно: защита неизбежно будет говорить о тяжёлых больных, войне, государственной необходимости, профессиональном

долге и границах полномочий. Эти доводы могли оказаться не только удобной маской; именно поэтому они пугали Келлера сильнее откровенной жестокости.

Самым трудным будет понять, как образованный врач способен считать своё решение медицинским даже тогда, когда другой человек утрачивает право решать о собственной жизни.

Глава 1. Двадцать три

Нюрнберг, 21 ноября 1946 года

Тремя неделями ранее Келлер впервые увидел двадцать три обвиняемых не на фотографиях. Утро было мокрым и серым. Трамвай шёл медленно, обходя участки разрушенных путей. За окнами тянулись кварталы, в которых дома стояли наполовину: одна комната открыта ветру, на стене уцелели обои, на третьем этаже висит зеркало, а пола уже нет. Германия продолжала существовать внутри собственных разрезов, как организм, вскрытый слишком большим скальпелем. У входа во Дворец правосудия американский солдат проверил пропуск Келлера дважды. Внутри его встретил Хардинг.^{1, 2}

— Доктор Келлер?

— Да.

— Томас Хардинг. Медицинская группа обвинения.

Они пожали руки. Хардинг сразу протянул ему папку. На обложке: **UNITED STATES OF AMERICA v. KARL BRANDT et al. MEDICAL CASE** (Соединённые Штаты Америки про-

тив Карла Брандта и др. Дело врачей - англ.).

— Это ваше первое знакомство.

— Я знаю дело в общих чертах.

— Общие черты здесь мало помогают.

Они вошли в зал до появления судей. Келлер занял место сбоку, откуда хорошо видел скамью подсудимых. Вскоре их ввели. Он считал неосознанно. Один. Два. Три. Двадцать три. Карл Брандт. Зигфрид Хандлозер. Пауль Росток. Оскар Шрёдер. Карл Генцкен. Карл Гебхардт. Курт Бломе. Рудольф Брандт. Иоахим Мруговский. Гельмут Поппендик. Вольфрам Зиверс. Герхард Розе. Зигфрид Руфф. Ханс Вольфганг Ромберг. Виктор Брак. Герман Беккер-Фрейзинг. Георг Август Вельц. Конрад Шефер. Вальдемар Ховен. Вильгельм Байгльбёк. Адольф Покорный. Герта Оберхойзер. Фриц Фишер. Некоторые фамилии Келлер видел раньше не в уголовных делах, а в библиографиях медицинских журналов.

Он всматривался в лица и ловил себя на профессионально нелепых деталях. Вот человек поправил очки указательным пальцем — знакомый жест врача, который много читает мелкий шрифт. Другой держал карандаш так, как держат его на клинической конференции, готовясь отметить спорное место. У третьего были руки хирурга — сухие, аккуратные, с коротко подстриженными ногтями. Келлеру хотелось, чтобы внешность помогла: чтобы преступление как-нибудь проступало на коже, в глазах, в позе. Ничего подобного не происходило. Именно узнаваемость оказалась тяжелее любой демо-

нической маски. Если бы на скамье сидели люди, совершенно чуждые медицинскому миру, можно было бы внутренне отгородиться: они — не мы. Но фамилии из журналов разрушали эту защиту. Келлер вдруг вспомнил, как до войны выписывал статьи, спорил о хирургической технике, старался не пропускать новые работы. В библиографии автор не имеет биографии. Там остаются фамилия, год, журнал, страницы. Теперь фамилии получили тела и обвинения.

Он подумал о молодых врачах, которые ещё будут учиться по тем же статьям, не зная, что делал автор за пределами печатной страницы. Научный текст умеет быть удивительно чистым от человеческой жизни. В нём не видно ни убеждений, ни страха, ни нравственного выбора. И именно поэтому образование само по себе ничего не гарантирует. Оно увеличивает возможности человека. Но направление этим возможностям задаёт не диплом. Это было первым ударом. Не внешность. Не форма. Не обвинение. Библиография.

— Двадцать врачей, — тихо сказал он.

Хардинг сидел рядом.

— И трое чиновников, тесно связанных с медицинскими программами.

— Удобная цифра.

— Для чего?

— Для газет. «Двадцать врачей на скамье».

— А вам не нравится?

— Мне не нравится, когда профессия становится приго-

вором раньше человека.

Хардинг посмотрел внимательнее.

— Тогда вы подходите.

— Для обвинения?

— Для дела.

Суд начал процедуру. Обвиняемых вызывали одного за другим. Каждый отвечал на вопрос о виновности.

— *Nicht schuldig* (Не виновен - нем.).

Не виновен. Снова.

— *Nicht schuldig* (Не виновен - нем.).

И снова. Келлер слышал двадцать три варианта одного ответа. Кто-то говорил твёрдо. Кто-то тихо. Кто-то почти раздражённо. Он пытался не искать нравственный смысл в интонации. Человек имеет право заявить о невиновности. Даже здесь. Келлер начал различать не только голоса, но и способы, которыми люди удерживали себя в этом помещении. Гебхардт держался с той собранностью, которую Келлер знал по старшим хирургам перед сложной операцией: сначала определить задачу, затем не расходовать силы на лишнее. Фишер казался моложе рядом с ним, и сама близость двух мест на скамье уже напоминала будущий спор об иерархии — насколько далеко простирается ответственность ассистента за решение старшего.

Оберхойзер произнесла «не виновна» без заметного надлома. Келлер не позволил себе превратить спокойствие в нравственный диагноз. Женщина, которой грозит тяжёлое

наказание, имеет право держаться. Но он всё равно думал о парадоксе: человек может быть абсолютно убеждён в несправедливости обвинения, даже если другой человек носит на теле след его действий. Внутренняя невиновность и юридическая невиновность — разные вещи. Брак выглядел иначе, меньше медицинского, больше чиновничьего. Келлеру казалось, что тот уже мысленно дробит обвинение на компетенции и ведомства. Бюрократ знает спасительную силу границ: это относилось не ко мне, этим занималось другое подразделение, медицинский вывод давали врачи. И снова каждая фраза могла оказаться частично истинной.

Карл Брандт произнёс свой ответ так, будто утверждал позицию, которую намерен защищать долго. Келлер вдруг понял: для некоторых из этих людей процесс будет не столкновением с собственной виновностью, а борьбой за право сохранить прежнюю интерпретацию своей жизни.

После заседания Хардинг отвёл его в небольшую комнату.

— Начнём с простого вопроса. Если к вам привозят бессознательного раненого, вы спрашиваете согласие на операцию?

Келлер снял пальто.

— Разумеется, нет.

— То есть врач иногда действует без согласия.

— В интересах самого пациента.

— Защита будет говорить о необходимости. О чрезвычайных условиях. О войне.

— Это другое.

— Приготовьтесь объяснить, почему другое.

Келлер хотел ответить резко, но вместо этого вспомнил полевой госпиталь. Там он действительно решал без согласия. Иногда раненый был без сознания. Иногда кричал и отталкивал руки, не понимая, что происходит. Иногда приходилось ампутировать ногу человеку, который, очнувшись, проклинал врача за спасённую жизнь. Если вырвать такие эпизоды из контекста, можно было получить пугающе удобный аргумент: врач имеет право причинить огромный вред телу без предварительного согласия. Но разница существовала и была для него почти физической. В госпитале решение подчинялось одному вопросу: что даст этому конкретному человеку шанс жить? В документах, которые Хардинг собирался ему показывать, всё чаще появлялись другие адресаты пользы — армия, государство, наука, раса, экономия. Пациент оказывался не целью действия, а его сырьём или препятствием.

— Тогда запишите ещё одно, — сказал Келлер после паузы.

— Что именно?

— Чрезвычайность не отменяет вопроса: ради кого действует врач.

Хардинг быстро сделал пометку. Келлер раздражённо усмехнулся.

— Вы когда-нибудь перестаёте записывать?

— Когда люди перестают говорить полезные вещи.

— То есть никогда?

— В этом здании — сомневаюсь.

Келлер раздражённо посмотрел на него.

— Вы заранее репетируете защиту?

— Я хочу, чтобы вы не говорили «это очевидно» там, где суд потребует доказательства.

Хардинг достал другую папку. В ней были таблицы опытов на заключённых.

— Что видите?

Келлер наклонился. Температура. Пульс. Дыхание. Отметка рядом с последней строкой.

— Здесь человек умер.

— Откуда знаете?

— После последней записи нет восстановления показателей. И этот знак... вероятно, внутреннее обозначение смерти.

— Хорошо. Вот ваша работа. Не быть нравственным пророком. Читать так, чтобы никто не мог спрятаться за медицинским словом.

Келлер выпрямился.

— А если я увижу больше?

— Запишите себе. Суд всё равно потребует факты.

Поздно вечером он вышел из здания. У входа к нему подошёл мальчик лет десяти, предложил помочь донести бумаги. Келлер отказался, но дал монету.

— Как тебя зовут?

— Франц Хольцер.

— Франц, не трать всё сразу.

Мальчик улыбнулся и убежал. Келлер ещё долго видел его красный шарф между серыми шинелями прохожих. Франц Хольцер. Два слова — и ребёнок перестал быть «мальчиком у суда». Имя мгновенно создаёт сопротивление обобщению. Именно поэтому лагерные номера казались теперь Келлеру не просто способом учёта, а насилием над самой грамматикой человеческого существования: номер не имеет прошлого, родства, домашнего имени, которым его зовёт мать. По дороге домой он прошёл мимо витрины бывшей медицинской книжной лавки. Стекло было выбито, книги внутри покрыты пылью. На одной обложке ещё можно было прочесть слово *Chirurgie* (Хирургия - нем.). Келлер остановился. До войны такие книги означали для него будущее — новую методику, возможность лучше оперировать, новые знания. Сейчас он впервые подумал, что знания сами по себе не имеют нравственного направления. Скальпель одинаково остёр в руке спасителя и преступника.

Дома его ждало письмо сестры. Она спрашивала, как он устроился, и снова напоминала о возможности вернуться в клинику. Келлер не ответил. Ему было стыдно признаться даже себе, что после первого дня суда он начал сомневаться, имеет ли право просто надеть халат и вернуться к прежней жизни, будто профессия не требует от него ответа на то,

что он увидел. Он положил письмо рядом с блокнотом. На одном листе — семейная забота. На другом — двадцать три «не виновен». Так начиналась новая странная жизнь, в которой личное и историческое постоянно оказывались на одном столе. Келлер неожиданно подумал о таблице, где вместо фамилии стоял только номер. Один вопрос — «как тебя зовут?» — мгновенно возвращал человеку то, что система так легко отнимала.

Дома он открыл блокнот.

«23 обвиняемых. Все заявили: не виновны».

Ниже:

«20 врачей».

Потом написал: «Образование не мешает преступлению» — и сразу зачеркнул. Слишком легко. Слишком нравоучительно. Вместо этого вывел:

«Что происходит со знанием, когда из него исчезает человек?»

Разбирая обвинение, Келлер всё яснее понимал вероятную логику защиты Карла Брандта. Обобщённая картина «нацистской медицины» была нравственно убедительна, но суду требовалось дробить её на отдельные программы: где человек был, что знал, какими полномочиями обладал, какой документ подписал. В этом не было уловки само по себе; такая точность и отличала суд от расправы. И всё же Келлера тревожило слово «обязанность». Врачебный долг, государственный приказ, военная необходимость — каждое из

этих слов могло звучать разумно отдельно. Поэтому он боялся не простого вопроса «как преступник мог стать врачом?», а другого: как врач мог участвовать в преступлении и продолжать считать свои действия профессионально оправданными?

Глава 2. Тиргартенштрассе, 4

Нюрнберг, 22 ноября 1946 года

На следующее утро Хардинг положил перед Келлером папки с короткими надписями: **EUTHANASIA. BRANDT. BRACK. T4** (Эвтаназия. Брандт. Брак. Т4 - англ.).

— Начинаем отсюда.

— Почему не с Дахау?

— Потому что если начать с барокамеры и ледяной воды, вы решите, что всё родилось в лагерях.

Келлер открыл первый документ. Фюрер рейха уполномочивает рейхслейтера Боулера и доктора медицины Карла Брандта расширить полномочия определённых врачей таким образом, чтобы неизлечимо больным, после критической оценки состояния, могла быть предоставлена «милосердная смерть». Дата: 1 сентября 1939 года. Келлер перечитал немецкое слово: **Gnadentod** (Милосердная смерть - нем.).^{3, 4}

— Милосердная смерть.

— Документ был подписан позднее и задним числом датирован первым сентября, — сказал Хардинг.

— Началом войны.

— Да.

Келлер откинулся на спинку стула. Он видел настоящую умирающую боль. Метастазы. Разрушенные лица. Гангрену. Людей, которые просили дать им умереть. Он знал, почему слово «милосердие» способно обмануть даже врача.

— Эвтаназия — сложный вопрос, — сказал он.

— Поэтому они и выбрали хорошее слово.

— Не всё, что называется эвтаназией, одинаково.

— Именно. Здесь людей не спрашивали.

Следующие документы относились к детям. Регистрация новорождённых и маленьких детей с тяжёлыми заболеваниями или инвалидностью. Врачи и акушерки направляли сведения. Затем специальные комиссии решали судьбу ребёнка. Убийства проводились передозировками лекарств, голодом, сочетанием методов. В документах появлялись ложные причины смерти. Эти страницы Келлер читал медленнее остальных. Взрослого человека легче — хотя и ложно — включить в рассуждение о пользе, труде, хронической болезни. Ребёнок разрушал даже эту циничную логику. Он ещё не успел стать ни рабочим, ни солдатом, ни налогоплательщиком. Его ценность для семьи не поддавалась графе «способность работать». Поэтому сама попытка оценивать детскую жизнь через наследственную полноценность казалась Келлеру особенно чистой формой идеологии.

Он вспомнил девочку из довоенной клиники с тяжёлым врождённым пороком. Отец приносил её на руках, мать зна-

ла каждую перемену цвета губ, каждый приступ одышки. Врачи понимали, что прогноз плох, но никто не задавал вопрос, заслуживает ли девочка жить. Они спорили о том, как уменьшить страдание и выиграть время. Даже когда медицина почти бессильна, её бессилие не превращает пациента в лишнего человека.

— Самое опасное, — сказал Келлер, — когда безнадёжность лечения начинают путать с бессмысленностью жизни.

Хардинг записал, потом спросил:

— Это медицинская формулировка?

— Нет. Человеческая. Но врач обязан её помнить именно тогда, когда медицина ничего не может.

Келлер долго смотрел на один формуляр. Больше всего его потрясала не жестокая формулировка — её как раз почти не было. Формуляр выглядел прилично. Колонки. Линии. Место для диагноза. Профессия. Продолжительность пребывания. Способность работать. Всё напоминало десятки медицинских бланков, которые Келлер заполнял до войны. В этом сходстве скрывалась опасность: преступление не всегда создаёт собственный язык и собственную канцелярию. Иногда оно занимает уже существующую форму и меняет смысл граф.

Он представил врача в учреждении, которому утром принесли стопку анкет. Возможно, за окном шёл дождь. Возможно, у него было ещё тридцать настоящих пациентов, обход, нехватка сестёр, семейные заботы. Он мог поставить

подписи между двумя обычными делами, не чувствуя себя человеком, участвующим в убийстве. Именно здесь бумага становилась частью механизма не потому, что обладала злой волей, а потому, что позволяла разделить действие и последствие. Подписывающий не видел автобуса. Эксперт не видел газовой камеры. Секретарь не видел тела. Каждый видел только лист.

— Вот почему я не могу назвать бумагу соучастником, — сказал Келлер.

Хардинг поднял взгляд.

— А раньше называли свидетелем.

— Свидетелем — да. Соучастником — нет. Бумага не выбирает. Выбирают люди. Но она сохраняет их выбор лучше памяти.

— Сначала ребёнок становится формой.

— Потом решением.

— Потом причиной смерти, которой у него не было.

Позднее программа распространилась на взрослых пациентов психиатрических учреждений. Анкета спрашивала не только диагноз. Возраст. Сколько лет находится в учреждении. Способность работать. Профессия. Посещения родственников. Келлер поднял лист.

— Зачем профессия?

— Полезность.

Он помолчал. Врачебная карта тоже содержит профессию. Но там профессия помогает понять нагрузку, риски,

социальные условия. Здесь та же графа могла становиться мерой права на жизнь. Эксперты Т4 часто не видели пациентов лично. Они получали анкеты и ставили знаки. Плюс. Минус. Вопросительный знак. Келлер несколько раз провёл пальцем по маленькому красному кресту. Красная отметка была пугающе мала. Ни пятна крови, ни размашистой подписи. Несколько миллиметров чернил. Келлер вдруг подумал о том, сколько усилий обычно требуется врачу, чтобы принять решение о тяжёлой операции. Сопровождение. Осмотр. Анализ. Сомнение. Повторный разговор с пациентом. Здесь решение, после которого человек мог оказаться в транспорте на смерть, занимало меньше места, чем отметка о температуре.

Он попытался представить самого эксперта Т4. Не карикатуру. Не садиста. Скорее образованного психиатра, который убеждён, что видит перед собой статистику безнадёжности. Если такой человек однажды принимает исходное положение — некоторые жизни объективно менее ценны, — дальше красный плюс начинает казаться не убийством, а профессиональной классификацией. Это и было страшно: нравственное преступление маскировалось под компетентность.

— Вам не кажется, что система специально убирает момент личного решения? — спросил Келлер.

— Решение всё равно кто-то принимает.

— Да. Но никто не держит человека за горло. Один запол-

няет. Другой оценивает. Третий составляет список. Четвёртый обеспечивает автобус. Пятый открывает газ. В результате каждому остаётся фраза: я сделал только своё.

Хардинг медленно кивнул.

— Тогда суду придётся собрать эти «только» обратно в целое.

— Это решение?

— Да.

— Не диагноз.

— Нет.

— Решение о жизни человека?

— Да.

— Без осмотра.

— Во многих случаях — без личного осмотра.

Келлер встал и прошёлся по комнате.

— В нормальной медицине бумага следует за пациентом. Здесь пациент следует за бумагой.

Хардинг записал фразу.

— Не крадите.

— Я американский обвинитель. Мы называем это использованием экспертного ресурса.

Келлер не улыбнулся. Дальше появился адрес. ***Tiergartenstraße 4, Berlin*** (Тиргартенштрассе, 4, Берлин - нем.). Обычный дом. Кабинеты. Телефоны. Секретари. Архивы. Координация перевозок. Расчёты. Переписка. Из адреса позднее родилось условное название Т4. Келлеру пона-

добилось время, чтобы принять обычность адреса. Он представлял место массового преступления как пространство, которое само должно предупреждать человека: за этой дверью происходит нечто исключительное. Но в доме на Тиргартенштрассе могли звенеть телефоны, печатать машинки, остывать чашки кофе, секретарша могла просить коллегу передать папку до обеда. Организация смерти не обязана выглядеть как смерть.

Он взял одну анкету и задержался на строке с профессией. Столяр. Само слово вызвало ненужную картинку: руки с мелкими занозами, запах дерева, привычка измерять дважды перед тем, как пилить. Келлер не знал этого человека и не имел права придумывать ему биографию. Но профессия уже доказывала достаточно: перед знаком «плюс» существовала жизнь, в которой человек что-то умел, делал, возможно, был кому-то нужен не как единица труда, а как отец, брат, сосед. В кабинете Брака тот же лист означал бы другое. Часть потока. Один случай среди многих. Не обязательно потому, что Брак был лишён чувств; скорее потому, что администрация требует абстракции. Если чиновник будет переживать каждую фамилию как личную судьбу, система остановится. Именно поэтому нравственная опасность бюрократии начинается не с ненависти, а с профессиональной способности уменьшать человека до управляемого объекта.

Келлер понял, что обвинение будет вынуждено сделать обратное: из управляемого объекта снова извлекать чело-

века и одновременно не терять структуру системы. Келлер ожидал чего-то более мрачного. Подвала. Охраны. Военного объекта. Но смерть организовывали из офиса.

— Виктор Брак? — спросил он.

— Один из ключевых администраторов в канцелярии фюрера. Не врач. Сейчас сидит на скамье вместе с врачами.

— Потому что без таких людей врачебное решение не становится массовой системой.

Виктор Брак в материалах возникал иначе, чем Брандт. Не с диагнозом и не со скальпелем — с организацией. Для Келлера это сначала казалось вторичным. Он был воспитан медициной, где ответственность почти всегда связывается с тем, кто непосредственно касается тела. Но Т4 разрушала и эту привычку. Массовое убийство не может существовать только в руках врача. Ему нужны расписания, транспорт, списки, помещения, персонал, деньги, ложные уведомления родственникам. Администратор мог не видеть ни одной смерти и всё же сделать возможными тысячи.

Келлер понимал и возможную линию защиты Виктора Брака: организация — не то же самое, что непосредственное убийство. Брак не стоял у газовой камеры и не проводил медицинский отбор; именно поэтому обвинению требовалось доказать, какие решения, переводы персонала и административные действия принадлежали ему лично. Частичная правдивость такого объяснения делала задачу суда сложнее: большая система позволяет каждому описывать

собственную функцию так, будто она меньше целого. Келлер написал на полях: «Ответственность уменьшается при разделении функции только в воображении участника. Для результата функции складываются». Потом перечитал и зачеркнул слово «только». Оно уже начинало раздражать его.

— Именно.

Они обсуждали согласие долго. Келлер упрямо возвращался к пограничным случаям: ребёнок, бессознательный больной, тяжёлое психическое расстройство.

— Отсутствие способности дать согласие не означает, что лечение становится преступным, — говорил он. — Врач обязан действовать в интересе человека.

Хардинг написал на листе: *PATIENT'S INTEREST* (Интерес пациента - англ.).

— Значит, критерий не само наличие подписи?

— Конечно. Критерий — ради кого действует врач.

Он остановился у окна.

— Если ради пациента — это медицина. Если ради государства, науки, экономии коек, чистоты расы — тогда нужно очень хорошо понимать, где проходит граница.

В одной анкете Келлер заметил профессию: столяр. Пациент работал в мастерской. Несмотря на это, его дело шло дальше по системе.

— Значит, даже полезность была не абсолютным критерием.

— Критерии менялись. Как и квоты, учреждения, реше-

ния.

Келлер снова посмотрел на маленький плюс.

— Первый шаг не газовая камера.

— Что тогда?

— Взгляд. Врач начинает видеть не пациента, а категорию.

Хардинг достал папку **BRANDENBURG** (Бранденбург - нем.).

— Тогда завтра посмотрим, что произошло после того, как категория получила технологию.

Вечером Келлер записал:

«Первый шаг: врач решает не как помочь пациенту, а имеет ли пациент право оставаться пациентом».

Ниже:

«Плюс. Минус. Вопросительный знак».

Он долго смотрел на три символа. Столько мог занимать человек в системе, если смотреть на него достаточно изда-
лека.

Глава 3. Бранденбург

Нюрнберг, 23 ноября 1946 года

Папка **BRANDENBURG** (Бранденбург - нем.) начиналась с плана здания. Бывшая тюрьма в Бранденбурге-на-Хафеле. Несколько помещений переоборудованы. Комната для раздевания. Камера. Технические помещения. Крематорий. Келлер наклонился над схемой.⁵

— Здесь?

— Да.

— В конце тридцать девятого или начале сорокового провели пробное убийство?

— Демонстрацию метода. Угарный газ из баллонов.

План здания лежал перед ними спокойно, почти невинно. Толщина стен. Двери. Коридор. Келлер видел подобные планы при переустройстве больничных отделений: где поставить перевязочную, куда вывести вентиляцию, как разделить поток больных. Архитектура сама по себе не знала цели. Но на этом листе помещение, которое могло стать палатой или складом, было приспособлено для того, чтобы несколько людей одновременно перестали дышать. Его поразило слово «демонстрация». В медицинской среде демонстрируют новую операцию, аппарат, диагностический метод. Молодые врачи стоят вокруг стола и смотрят, как старший делает то, чему они хотят научиться. В Бранденбурге демонстрировали способ убийства — и среди наблюдателей были люди с медицинским образованием. Значит, обучение произошло не только техническое. Кто-то должен был впервые пережить собственное присутствие при намеренной смерти и обнаружить, что после этого способен продолжать работу.

Келлер провёл ладонью по плану.

— Первый опыт проверял не только газ, — сказал он.

— Что ещё?

— Людей вокруг камеры. Смогут ли они смотреть. Смогут ли потом назвать увиденное работой.

Хардинг говорил осторожно. В документах и показаниях фигурировали Филипп Боулер, Виктор Брак, Карл Брандт, химики Альберт Видман и Август Беккер и другие участники аппарата Т4. Точные детали отдельных присутствовавших различались по источникам, поэтому Хардинг каждый раз уточнял, где говорит документ, а где послевоенное свидетельство.

— Несколько пациентов, — продолжил он. — Цель — проверить, подходит ли чистый угарный газ для убийства.

Келлер почти против воли начал думать технически. Он ненавидел эту часть собственного сознания и одновременно понимал, что именно она делала врача полезным обвинению. Врач не может читать описание газа и не думать о физиологии. Угарный газ связывается с гемоглобином. Организм теряет способность переносить кислород. Человек может ещё дышать, но кровь уже перестаёт выполнять свою главную работу. Келлер знал это со студенческой скамьи. Знание, которое должно было помогать распознавать отравление и спасать, здесь превращалось в расчёт надёжности смерти. Он представил врача у смотрового окна. Тот наблюдает дыхание. Цвет кожи. Потерю сознания. Возможно, автоматически отмечает клинические признаки, потому что от этого профессионального рефлекса невозможно полностью избавиться. Но клинический рефлекс больше не приводит к вмешательству. В нормальной палате цианоз заставляет врача двигаться быстрее. Здесь он подтверждает, что метод рабо-

тает.

— Вот где медицина выворачивается наизнанку, — сказал Келлер.

— Потому что симптомы те же?

— Потому что знание то же. Только каждый признак, который раньше требовал спасать, теперь подтверждает успех.

Объём помещения. Концентрация газа. Время. Герметичность. Он резко отодвинул план.

— Что?

— Ничего.

— Вы считали.

— Да.

— Это ваша работа.

— Именно поэтому страшно.

Он снова посмотрел на схему.

— Врачу не нужно быть садистом, чтобы понимать технологию. Достаточно быть профессионалом. Этическая граница находится не в знании. Она в том, ради чего ты его используешь.

Хардинг начал пересказывать ход пробного убийства. Келлер слушал несколько минут и вдруг остановил его.

— Откуда вы знаете, что они говорили?

— Что?

— Реплики. Кто именно что сказал перед камерой.

Хардинг помолчал.

— Не знаю. Это реконструкция.

— Тогда не говорите как факт.

— Для суда и не скажу.

— И для истории тоже не надо. Если мы сделаем их карикатурными злодеями, станет легче. Скажем: вот чудовища, обычный врач не имеет к ним отношения.

Хардинг кивнул.

— Хорошо. Тогда только то, что знаем.

Знали следующее: людей поместили в закрытое помещение. Угарный газ поступил из баллонов. Наблюдатели следили за процессом. Метод признали пригодным для дальнейшего использования. Келлер закрыл глаза и попытался представить сцену ровно настолько, насколько позволяли факты. Он не придумывал слова. Только пространство. Люди входят в комнату. Дверь закрывается. Снаружи находятся наблюдатели. Газ начинает поступать. С этого момента в нормальном лечебном учреждении любой врач должен был бы искать способ открыть дверь, прекратить воздействие, дать кислород, восстановить дыхание. Здесь профессиональная задача состояла в обратном — не вмешиваться.

Он открыл глаза почти сразу. Воображение было опасным инструментом: оно легко создаёт убедительную ложь. Но и полное отсутствие воображения превращает документ в геометрию. Между этими крайностями Келлеру приходилось искать собственную форму честности.

— Я могу представить физиологию, — сказал он Хардингу. — Но не имею права придумывать их страх.

— Почему? Он очевиден.

— Возможно. Но очевидность тоже умеет лгать. Пусть документ говорит то, что знает. А я буду говорить о том, что понимаю как врач.

Так появился ещё один внутренний принцип его работы. не украшать ужас неизвестными подробностями. Ужас уже находился в известном. Келлер долго молчал.

— До Бранденбурга существовало решение убивать.

— Да.

— После Бранденбурга появилась проверенная технология.

— Да.

— И врач в этой комнате смотрел на дыхание не для того, чтобы восстановить его.

Хардинг поднял глаза.

— Вот это и есть перелом?

— Один из них. Врачебный рефлекс должен работать так: дыхание ухудшается — вмешайся. Здесь дыхание ухудшается — наблюдай, достаточно ли хорошо работает метод.

Он произнёс это и почувствовал, как фраза режет слух. Врач должен быть здесь — обычно означало присутствие защиты. При тяжёлых родах. На операции. При внезапном ухудшении. Здесь присутствие врача требовалось, чтобы придать убийству медицинскую форму и удостоверить его завершение. Авторитет профессии использовался как печать. Келлер всё чаще возвращался к слову «медицин-

ское». Именно вокруг него, вероятно, будет строиться значительная часть защиты Карла Брандта: тяжёлые больные, прекращение страдания, государственное решение, порученное врачам как профессиональная мера. Но Бранденбург разрушал удобство абстракции: «милосердие» здесь получило баллон с угарным газом, герметичную дверь и наблюдательное окно. Слова обрели технику.

Келлер подумал, что документальный план помещения в этом смысле беспощаднее любой речи. Человек может позднее назвать намерение гуманным. План не спорит. Он только показывает: здесь раздевались, здесь закрывали дверь, здесь подавали газ, здесь сжигали. Бумага не выносила приговора, но сохраняла геометрию действия. Дальше были транспорты. Серые автобусы. Пациенты из учреждений. Приём. Осмотр. Газ. Кремация. Ложные свидетельства о смерти. Келлер заметил ещё один механизм, который до этого не формулировал.

— Они использовали доверие к медицине.

— В каком смысле?

— Человек видит врача и предполагает, что врач не будет его убивать. Семья получает медицинское свидетельство и предполагает, что причина смерти написана врачом честно. Белый халат становится частью маскировки.

Он прошёлся по комнате.

— И каждый может сказать: я только заполнял анкету. Я только дал медицинское заключение. Я только перевозил. Я

только принял транспорт. Я только отвечал за оборудование.

— Разделение труда.

— Нет. Организация ответственности. Точнее — её раздробление.

Хардинг записал.

— Опять украли?

— Да.

В материалах фигурировала внутренняя статистика: 9 772 человека, убитых в Бранденбурге в рамках Т4. Келлер посмотрел на число.

— Завтра принесите имя.

— Что?

— Хотя бы одно. Иначе к десятому центру я перестану чувствовать разницу между девятью тысячами и десятью.

Вечером он снова пришёл в пустой зал суда. На скамье не было Карла Брандта, но Келлер смотрел на его место. Он понимал: Брандт будет говорить о контексте. О тяжёлых больных. О войне. О медицинской мере. Возможно, искренне. Именно поэтому суд был нужен. Материалы Бранденбурга уже показывали, какую линию спора неизбежно поднимет защита: тяжёлая болезнь, неспособность некоторых пациентов принимать решения, государственный приказ, утверждение о «милосердной смерти». Но для Келлера главный вопрос оставался прежним: почему неспособность человека защитить собственную волю должна увеличивать право врача, а не его обязанность защищать? Отсутствие согласия не

создаёт пустоты, которую врач вправе заполнить своей целью.

Он посмотрел на копию документа. При жизни режима такая бумага подтверждала полномочие; теперь она требовала объяснения. Чернила не изменились — изменилось направление чтения. Суду предстояло выяснить не то, умеет ли человек найти оправдание, а существовала ли граница, которую оправдание не отменяет.

На улице пожилой мужчина уронил пакет. Руки у него дрожали. Келлер подхватил.

— Вам помочь?

Старик посмотрел на него.

— Вы врач?

— Да.

— Видно. Профессиональная привычка.

Он улыбнулся.

— Хорошая привычка. Не теряйте.

Келлер стоял ещё несколько секунд после того, как старик ушёл. В блокноте вечером появились строки:

«Эксперимент показал, что людей можно убивать угарным газом. Но главным результатом было другое: присутствующие убедились, что могут смотреть».

«После первого раза нужен был второй. Потом десятый. Потом тысячный».

«Привычка — тоже технология».

И ниже:

«9 772 — не имя».

Глава 4. Шесть адресов

Нюрнберг, 25 ноября 1946 года

В понедельник Хардинг положил перед Келлером лист с именами.

— Вы просили имя.

Келлер снял перчатки.

— Помню.

— Я подумал, одного будет мало.

Фамилии. Имена. Годы рождения. Учреждения. Келлер прочёл несколько вслух. Девятнадцать лет. Сорок семь. Шестьдесят два. Двадцать четыре.

— Все из одного транспорта?

— Да.

Хардинг положил фотографию светлого замка среди холмов.

GRAFENECK (Графенек - нем.).

— Первый постоянно действовавший центр Т4, — сказал он. — Массовые убийства начались в январе сорокового.

Келлер долго смотрел на фотографию.

— Красивое место.

— Вы второй раз это говорите.

— Потому что мы привыкли думать, что зло должно жить в безобразных местах.

На стол легли папки:

GRAFENECK (Графенек - нем.).

BRANDENBURG (Бранденбург - нем.).

HARTHEIM (Хартхайм - нем.).

SONNENSTEIN (Зонненштайн - нем.).

BERNBURG (Бернбург - нем.).

HADAMAR (Хадамар - нем.).

Шесть адресов. В Графенеке механизм заработал быстро. Пациентов привозили автобусами, принимали, раздевали, кратко осматривали. Затем направляли в помещение, замаскированное под душевую. Газ поступал из баллонов. После смерти тела сжигали, в административной части оформляли ложные даты и причины смерти. Келлер рисовал цепочку на чистом листе:

Человек. Анкета. Эксперт. Список. Транспорт. Приём. Газ. Крематорий. Свидетельство о смерти. Письмо семье.

— Вот так выглядит система, — сказал Хардинг.

— Нет. Вот так выглядит исчезновение человека внутри системы.

В материалах Графенека появилось имя Хорста Шумана.⁶

— Запомните, — сказал Хардинг.

— Почему?

— Потом Освенцим.

— Что там?

— Эксперименты по стерилизации.

Келлер записал фамилию отдельно. Линия впервые стала видимой не между учреждениями, а между людьми. Не здание переходило в лагерь. Врач. Специалист. Администратор.

Тот, кто уже научился выполнять определённую работу. Графенек закрыли к концу 1940 года, когда сохранить секрет стало всё труднее. Автобусы видели местные жители. Родственники замечали странности в письмах. Причины смерти не совпадали с прежними диагнозами. Дым и запах кремации разрушали маскировку. Но закрытие центра не означало прекращения навыка. Персонал переводили. Дальше — Хартхайм. Ренессансный замок под Линцем. Газовая камера. Крематорий. Транспорт. Та же логика, другой адрес.

Потом Зонненштайн. Бернбург. Хадамар. Келлер попросил карту Германии и Австрии. Поставил шесть точек. Он отошёл на несколько шагов. Точки выглядели почти ничтожно на большой карте. Между ними были города, леса, железные дороги, деревни, реки — обычная география страны. Ничего на карте не говорило, что в одном месте пациентам ещё подавали ужин, а в другом уже сжигали тех, кого привезли утром. Келлер подумал о людях, живших рядом. Кто-то видел автобусы. Кто-то чувствовал запах. Кто-то слышал слухи. Кто-то действительно не знал. Кто-то предпочитал не знать достаточно точно. Между знанием и незнанием существовала широкая серая зона, в которой человек мог сохранить спокойствие, если не задавал лишних вопросов.

— Государственная тайна иногда устроена так, — сказал Хардинг, — что все знают кусок, но никто не обязан знать целое.

— Тогда ответственность общества становится почти

неуловимой.

— Суд не судит общество.

— Знаю. Но эта история врачей всё равно проходит через общество, которое привыкло доверять врачу больше, чем слуху.

Келлер посмотрел на точки. Шесть адресов были не только местами убийства. Они были узлами, где доверие к больнице, дисциплина чиновника и профессиональное знание врача соединялись в один механизм. Пока точка была одна, её ещё можно было воспринимать как исключение — страшное, но локальное. Шесть точек изменяли смысл. Между ними возникала сеть, а сеть всегда говорит о повторяемости. Чтобы повторять, нужны инструкции, люди, транспорт, стандартизированные решения. Случайная жестокость не строит расписание. Келлер долго смотрел на карту и вдруг вспомнил больничную систему довоенной Германии: санатории, психиатрические учреждения, университетские клиники. Карта здравоохранения должна показывать, куда человек может попасть за помощью. Теперь часть тех же профессиональных и административных навыков связывала места, куда людей отправляли умирать. Это было больше, чем преступление отдельных врачей. Система научилась использовать инфраструктуру заботы в противоположном направлении.

— Самое страшное слово здесь не «газ», — сказал он.

— Какое?

— «Следующий». Следующий транспорт. Следующий центр. Следующая группа. Когда появляется «следующий», убийство перестаёт быть событием и становится процессом.

— Вот так выглядит медицина? — спросил Хардинг.

— Та, которая решила, что её задача — освобождать страну от пациентов.

В Хадамаре секрет постепенно превращался в общеизвестную тайну. Люди видели автобусы с закрашенными окнами. Видели дым. Получали извещения о неожиданной смерти родственников. Слышали слухи.

— И всё равно продолжали, — сказал Келлер.

— Да.

— Значит, секретность нужна была не для того, чтобы никто не знал.

— А для чего?

— Чтобы каждый мог сказать: я точно не знал.

После формальной остановки централизованной газовой фазы Т4 в августе 1941 года убийства больных не прекратились. Изменились методы: передозировки лекарств, голод, пренебрежение уходом. В некоторых учреждениях смерть снова вернулась в обычную больничную палату.

— Значит, остановили не убийство, — сказал Келлер.

— Нет.

— Изменили способ.

К этому времени внутренний подсчёт Т4 фиксировал 70 273 убитых в шести центрах централизованной программы.

Он остановил себя уже после первого деления. Арифметика была необходима историкам и обвинению, но в голове врача она опасно быстро превращала смерть в показатель производительности. Семьдесят тысяч двести семьдесят три — число слишком велико для воображения. Поэтому система и любила числа: число не кричит, не спорит, не имеет матери. Оно удобно для отчёта.

— Я хочу хотя бы одно имя из каждого центра, — сказал Келлер.

— Для доказательства это не обязательно.

— Для доказательства — нет. Для меня — да.

Хардинг посмотрел на него и ничего не возразил. Бумаги Т4 давали следствию масштаб именно потому, что были скрупулёзны. Тот же аппарат, который когда-то считал убитых как выполненную работу, теперь сам свидетельствовал против себя. Келлер всё яснее чувствовал парадокс: документ не был нравственным существом, но в нём сохранялась нравственная улика. Система хотела учитывать собственную эффективность — и тем самым оставила будущему суду цифру, от которой невозможно отмахнуться как от слуха. Келлер написал число на доске. 70 273. Стал делить в уме на месяцы и резко остановился.

— Что?

— Я только что начал считать производительность.

Хардинг промолчал. Келлер стёр число рукой. На доске остался серый след.

— С доски легко.

Документы родственникам были отдельной формой преступления. Вежливые соболезнования. Причина смерти. Подпись врача. Урна. Но пепел мог не принадлежать человеку, чьё имя было написано на ней. Келлер взял одно из таких писем. В нём были соболезнования, медицинская причина смерти, формулировки, которые вполне могли исходить из обычной больницы. Именно это вызывало почти физическое отвращение. Ложь не кричала. Она говорила вежливо, профессионально, сочувственно. Семье предлагали не только ложную причину смерти — ей предлагали ложную реальность, в которой медицинское учреждение до конца исполняло свой долг. Он представил мать, открывающую конверт. Она читает название болезни. Возможно, вспоминает последнее свидание и пытается понять, почему сын не жаловался на лёгкие. Возможно, решает, что врач знает лучше. Государство использовало доверие к медицине уже после убийства, чтобы сделать убийство менее видимым.

— Они крали не только жизнь, — сказал Келлер. — Они крали у семьи право знать, как человек умер.

Хардинг перевёл взгляд на письмо.

— А иногда и право оплакать именно его. Прах мог быть смешан.

Келлер закрыл глаза. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы вернуть себе профессиональную холодность, без которой невозможно было читать дальше. Келлер прочёл

несколько писем.

— Ни тело. Ни правду. Иногда даже не его пепел.

В одном из писем семья благодарила учреждение за заботу. Келлер наткнулся на эту фразу в приложенных материалах и долго не мог продолжать. Люди благодарили тех, кто скрывал от них убийство. В этом было почти предельное использование доверия. Не просто ложь — вовлечение самой семьи в подтверждение вымышленной версии смерти. Он представил Брака среди штабной работы Т4. Для администратора письма родственникам могли быть необходимой частью секретности. Не издевательство, а процедура сокрытия. Именно так система и защищает себя от собственной нравственной очевидности: каждое жестокое действие получает функциональное объяснение. Ложное свидетельство нужно не потому, что кто-то наслаждается ложью, а потому, что программа должна оставаться тайной. Урна нужна, потому что семье требуется завершение. Подмена праха возникает из массовости кремации. Каждая ступень объяснима — и всё целое отвратительно.

Келлер всё яснее видел: моральный ужас системы нельзя понять, если искать только моменты, где человек хотел быть жестоким. Гораздо чаще человек хотел, чтобы работа выполнялась. А работа сама уже была преступной. Он почувствовал злость — почти простую, физическую.

— Зачем продолжать лгать, если человек уже мёртв?

Хардинг пожал плечами. Ответ пришёл Келлеру самому.

— Пока государство лжёт, семье приходится доказывать правду. Если государство признает убийство — объясняться приходится уже ему.

Позднее он разложил шесть названий перед собой и написал рядом одну фразу:

«Когда закрывают здание, знание не закрывается. Оно уходит вместе с людьми».

На следующий день Хардинг принёс папку с кодом:
14 f 13.

— Что это?

— Следующий шаг.

— От больниц куда?

— В концентрационные лагеря.

Келлер не открыл папку сразу. Он уже понимал: шесть адресов были не концом. Они были системой, научившейся повторяться.

Глава 5. 14f13

Нюрнберг, 26 ноября 1946 года

Келлер открыл папку без паузы. 14 f 13. Код звучал безобидно. Как номер склада, форма снабжения или индекс переписки. В этом была часть его силы: по телефону можно произнести «четырнадцать эф тринадцать» и не произнести «убийство». Эвтаназия хотя бы притворялась понятием о страдании. 14f13 не притворялось ничем. Набор знаков, пригодный для папки, телефонного разговора, служебной пометки. Никакого человека внутри. Келлер подумал,

что бюрократия иногда обезболивает язык сильнее морфия: произнеси «отбор нетрудоспособных заключённых» — и сознание ещё сопротивляется; произнеси «14f13» — и остаётся только административная операция.⁷

В документах появлялись комиссии врачей. Они приезжали в лагерь, просматривали сведения, осматривали заключённых. Иногда кратко. Иногда решение фактически было подготовлено заранее. Для Келлера сама фигура врача в такой комиссии стала почти символом извращения профессии. Человек, которому заключённый должен был показать слабость, теперь превращался в того, от кого эту слабость следовало скрыть. Он представил узника с высокой температурой, который перед комиссией заставляет себя стоять прямо. Не кашлять. Не прихрамывать. Сказать: могу работать. В нормальной медицине ложь пациенту вредна — она мешает врачу помочь. В лагере правдивость могла стать смертельной.

— С весны сорок первого врачи Т4 начали приезжать в концентрационные лагерь, — сказал Хардинг.

— Для лечения?

Хардинг ничего не ответил.

— Понятно. Для отбора.

Первоначально отбирали больных, инвалидов, истощённых, заключённых, признанных нетрудоспособными. Их отправляли в бывшие центры Т4 — прежде всего Хартхайм, Бернбург, Зонненштайн — и убивали газом. Келлер закрыл

глаза.

— Снова трудоспособность.

— Да.

— В больнице человека лечат, чтобы он мог жить. Здесь право жить зависит от того, может ли он работать.

В лагерях медицинские комиссии просматривали списки и людей. Иногда осмотр занимал минуты. Иногда меньше.

— Тогда это не осмотр, — сказал Келлер. — Это подтверждение заранее выбранного критерия.

— Какого?

— Не способен ли человек жить. Способен ли он быть полезен.

Среди фамилий врачей появился Фридрих Меннеке, психиатр и эксперт Т4. Его письма жене сохранили поразительную смесь служебного и бытового. Отборы. Формуляры. Поездки. Усталость. Гостиница. Еда. Домашние слова. Личные письма уничтожали последнюю удобную дистанцию. Меннеке писал о работе рядом с бытовыми мелочами, дорогой, усталостью, едой, семейными делами. Келлер читал и чувствовал почти неприличное вторжение в чужую частную жизнь, но именно эта частность и была доказательством нормальности, внутри которой помещалось преступление. Человек мог весь день отбирать заключённых, а вечером оставаться мужем, которому хочется рассказать жене, как прошла поездка.

— Люди умеют жить в разных комнатах, — сказал Хар-

динг. — В одной — чиновник. В другой — муж. В третьей — врач.

— А дверь между ними?

— Иногда закрывают намеренно.

Келлер подумал, что профессиональная этика, возможно, и нужна затем, чтобы не позволять закрыть такую дверь. Врач не должен иметь отдельную комнату, где человек перестаёт быть человеком только потому, что так удобнее работе. Келлер отложил копию.

— Вот этого я не понимаю.

— Чего?

— Как после такого дня можно писать жене о бытовых мелочах.

Хардинг посмотрел на него.

— Люди умеют разделять жизнь на комнаты.

— В одной врач, в другой муж?

— В одной чиновник, в другой отец. И стараются не открывать двери между ними.

Келлер снова взял письмо.

— Но двери когда-нибудь открываются.

В Заксенхаузене весной 1941 года медицинские комиссии проводили отборы заключённых. Затем людей отправляли в Зонненштайн. В документах всё выглядело как перемещение контингента. Келлер рисовал стрелку:

Sachsenhausen → *Sonnenstein* (Заксенхаузен → Зонненштайн - нем.).

- Раньше стрелки шли из психиатрических больниц.
- Теперь из лагерей.
- Инфраструктура уже готова.
- Именно.

Летом 1941 года комиссия Т4 прибыла и в Аушвиц. Больных и истощённых заключённых отбирали для отправки в Зонненштайн. Для администрации лагеря позднее оформлялись фиктивные свидетельства о смерти. Келлер вздохнул.

- Я уже жду бумагу после убийства. Это пугает.

В Бухенвальде появлялась фамилия Вальдемара Ховена, одного из нынешних подсудимых. Однако его связь с конкретными отборами была сложнее: существовали свидетельства, что он в некоторых случаях помогал лагерному подполью выводить людей из смертельных списков. Келлер долго обсуждал это с Хардингом. Фамилия Ховена заставила Келлера впервые почувствовать почти раздражение на собственную потребность в ясных ролях. Если свидетельства о помощи лагерному подполью верны, человек, обвиняемый в тяжёлых медицинских преступлениях, в отдельных ситуациях мог спасать других. Это не оправдывало последующего или параллельного преступления, но разрушало комфортное представление, будто нравственная биография всегда однородна.

- Значит, он мог помогать одним и причинять вред другим? — спросил Келлер.

- Человек способен на противоречие, — ответил Хар-

динг.

— Суду это мешает.

— Наоборот. Суд существует именно потому, что мы не выносим приговор человеку целиком. Мы рассматриваем действия.

Келлеру эта юридическая мысль показалась неожиданно гуманной. Врач привык ставить диагноз всему организму. Право отказывалось ставить нравственный диагноз всей личности: оно спрашивало о конкретном поступке. Судебная правда от этого казалась менее завершённой, зато была честнее — она не имела права исчерпать человека одним словом. Но эта ограниченность была и защитой от мести. Ховен должен был отвечать за доказанное, а не за то, насколько хорошо его фамилия вписывается в общую историю лагерьной медицины.

— Значит, система ломает простую схему «преступник — непреступник».

— Всегда.

— Тогда зачем суд?

— Чтобы установить личную ответственность, а не наказывать категорию.

Келлер записал:

«Система не сидит на скамье. Приходится разбирать её на решения людей».

В Маутхаузене и Гузене нетрудоспособность приобретала особенно ясный смысл. Заключённых доводили тяжё-

лым трудом до истощения, после чего врач мог признать их неспособными работать, а затем их отправляли в Хартхайм. Келлер пытался представить не конкретного заключённого, а саму перемену поведения перед врачом. В больнице человек жалуется: здесь болит, не могу поднять руку, задыхаюсь. Чем точнее описана слабость, тем легче помочь. В лагере слабость нужно скрывать. Заключённый выпрямляется, хотя кружится голова. Делает шаг без хромоты, хотя нога воспалена. Говорит «могу работать», даже если ночью не мог подняться с нар.

Так врачебный осмотр меняет нравственный знак. Не признаться в боли — значит увеличить шанс выжить. Сама фигура врача перестаёт обещать помощь и начинает означать опасность. Келлеру казалось, что это один из самых глубоких следов лагерной медицины: разрушение доверия не только между конкретным заключённым и конкретным врачом, но и между человеком и профессией. Он подумал о послевоенных пациентах, которые будут входить в кабинеты немецких врачей и, возможно, вспоминать лагерь. Как вернуть им возможность честно сказать: «Мне больно» — и не бояться, что слабость будет использована против них? На этот вопрос никакой приговор не ответит.

— Сначала человек работает, пока не заболит.

— Да.

— Потом врач подтверждает, что он больше не годится.

— Да.

— И это становится основанием убить.

— Да.

Келлер усмехнулся без радости.

— Тогда врач превращается в последнего бухгалтера. Подтверждает списание.

Поздние документы показывали, насколько критерий зависел от потребностей лагерной экономики. Когда Германии стало не хватать рабочей силы, даже тяжёлого больного могли сохранять, если он ещё был способен выполнять хоть какую-то работу. Келлер бросил лист на стол.

— Значит, медицинский критерий окончательно растворён. Сегодня «неизлечим» означает смерть, завтра — жизнь, если нужен рабочий.

— Да.

— Тогда речь никогда не шла о милосердии.

Однажды после артиллерийского налёта к ним привезли больше тридцати раненых почти одновременно. Он должен был выбирать, кого брать на стол первым. Один мужчина с разорванной брюшной полостью ещё разговаривал, но шансов почти не было. Рядом лежал другой — тяжёлый, но спасаемый. Старший хирург сказал: «Если начнёшь с первого, потеряешь обоих». Келлер оставил первого. Тот умер через сорок минут. Эта память возвращалась к нему каждый раз, когда защита говорила или ещё только собиралась говорить о необходимости выбора. Врач действительно иногда выбирает. Но во фронтовом госпитале выбор означал распреде-

ление ограниченной возможности спасать. В 14f13 врач подтверждал право системы убить того, кто перестал приносить пользу.

— Форма решения может быть похожа, — сказал он Хардингу. — И поэтому аргумент будет сильным.

— А различие?

— Я выбирал, кого могу спасти первым. Они выбирали, кого можно уничтожить.

Келлеру не понравилась собственная уверенность. Он понимал, что суд потребует больше, чем нравственно ясную фразу. Но именно эта граница стала для него точкой, от которой он больше не хотел отступать. Он вышел на короткий перерыв и услышал, как американский солдат жалуется товарищу на запястье.

— Покажите, — сказал Келлер автоматически.

Солдат удивился.

— Вы доктор?

— Да.

Келлер ощупал руку, попросил пошевелить пальцами.

— Скорее всего, ушиб. Если боль не уменьшится — медицинский пункт и снимок.

— Спасибо, доктор.

Келлер вернулся в комнату и сел.

— Что случилось? — спросил Хардинг.

— Ничего. Просто вспомнил, для чего нужен врач.

Позже появилась папка Равенсбрюка. Сульфаниламидные

эксперименты. Гебхардт. Фишер. Оберхойзер. Келлер понял, что круг замыкается. Т4 — решение за пациента. 14f13 — решение за заключённого. Эксперимент — использование человека без его свободного согласия. Во всех случаях исчезает одно и то же: право человека быть не средством, а самим собой.⁹

Ночью Келлер записал:

«В нормальной медицине больной должен показать врачу свою слабость, чтобы получить помощь».

И ниже:

«В лагере заключённый должен скрыть слабость от врача, чтобы остаться живым».

Он долго смотрел на эти две строки. Белый халат оставался белым. Менялось то, что человек ожидал увидеть, когда этот халат приближался.

Глава 6. Рейнхард

Нюрнберг, 27 ноября 1946 года

Папка с надписью **EINSATZ REINHARD** (Операция «Рейнхард» - нем.) оказалась толще предыдущих. Келлер открыл её и почти сразу понял: до сих пор он ошибочно представлял историю как прямую линию. Т4. Потом 14f13. Потом лагеря. Теперь линия распадалась на ветви.¹⁰

— Почему «Рейнхард»? — спросил он.

— В память о Рейнхарде Гейдрихе. Название закрепилось после его смерти, хотя подготовка началась раньше.

Хардинг подошёл к карте оккупированной Польши и по-

ставил три точки.

— Белжец.

Вторая.

— Собибор.

Третья.

— Треблинка.

Келлер смотрел на карту.

— И Т4 здесь при чём?

— Смотрите на фамилии.

Первым был Кристиан Вирт. Не врач — полицейский, служивший в аппарате Т4, знавший работу центров убийства. Затем Белжец, где он стал первым комендантом. Позже — инспектор трёх лагерей операции «Рейнхард». Келлер несколько раз прочёл строку биографии.

— Опыт массового убийства оказался квалификацией.

— Да.

— Не теория. Не идеология. Практический опыт.

Следом появлялись другие. Сначала список выглядел как обычная кадровая справка. Кристиан Вирт. Иоганн Ниман. Курт Франц. Эрвин Ламберт. Ирмфрид Эберль. Но вскоре фамилии начали образовывать не перечень, а маршрут знания. Один человек умел организовать газовое убийство. Другой — строить соответствующее помещение. Третий — управлять персоналом. Четвёртый — поддерживать дисциплину процесса. Система переносила не абстрактный опыт, а людей, внутри которых этот опыт уже стал привычкой. Осо-

бенно страшным Келлеру показался кадровый документ. Не отчёт о смерти — документ о назначении, жаловании, отпуске. Он показывал, что массовое убийство может соседствовать с самыми обычными вопросами трудовой жизни. Человек едет в отпуск. Получает деньги. Возвращается на службу. И его служба — лагерь уничтожения. Бумага снова фиксировала не эмоцию, а нормальность процедуры.¹¹

— Вот почему слово «школа» опасно и точно одновременно, — сказал Келлер.

— Опасно, потому что школы не было?

— Да. Но люди действительно чему-то научились. Не на лекции. На практике.

Готлиб Херинг. Иоганн Ниман. Курт Франц. Эрвин Ламберт, каменщик, участвовавший в строительстве газовых камер Т4, затем работавший над газовыми камерами в Собиборе и Треблинке. Келлер отложил карандаш.

— Даже строительный навык переходит.

— Массовое убийство требует разных профессий.

— Как любое производство.

Он сразу пожалел о слове. Но оно было точным. В Белжеце схема была уже иной, чем в психиатрических центрах. Большинство прибывавших не предназначалось для длительного содержания. Поезд. Платформа. Раздевание. Обман. Газовая камера. Тела. Имущество. Учёт. Келлер долго рассматривал схему железнодорожной ветки и поймал себя на ощущении, будто видит увеличенную систему кровооб-

ращения: транспорт приносит людей, лагерь принимает, разделяет, уничтожает, освобождает место для следующего состава. Сравнение показалось ему отвратительным, и именно поэтому он запомнил его. Человеческая инженерия способна придать массовому убийству ритм физиологического процесса.

Он подумал о специалистах Т4, которые прибыли на восток. Для нового человека газовая камера могла быть немислимой. Для них — знакомым техническим решением, которое нужно адаптировать к масштабу. Опыт снижает внутреннее сопротивление так же, как повторяющаяся операция снижает тревогу хирурга. В нормальной хирургии это позволяет работать точнее. Здесь та же профессиональная адаптация делала убийство легче.

— Привычка тоже переносится вместе с кадрами, — сказал Келлер.

— Её не видно в кадровом листе.

— Но лист показывает человека, который её несёт.

— Где медицинская часть? — спросил Келлер.

— Почти исчезла.

— Нет. Она уже сделала своё дело раньше.

Он указал на документы Т4.

— Она помогла превратить убийство газом в практическую процедуру. Доказала исполнителям, что это возможно.

В Бранденбурге использовали чистый угарный газ из баллонов. В лагерях «Рейнхарда» постоянную систему строили

на выхлопных газах двигателей — проще снабжать, меньше зависимость от баллонов. Келлер поймал себя на расчёте.

— Опять техническая логика.

— Она неизбежна.

— Именно. И в этом опасность. Как только принимаешь преступную цель, профессиональный разум начинает улучшать средства.

В списках персонала всё чаще появлялись люди, ранее работавшие в Т4. Многие формально продолжали числиться в её системе; кадровые вопросы, жалование, отпуска связывали их с тем же берлинским аппаратом. Келлер увидел среди документов кадровые пометки и впервые подумал о том, насколько странным архивом может быть ведомость. В ней нет газа, крика, крови. Есть жалование, перевод, служебное назначение, отпуск. Но если рядом поставить две даты — работа в центре Т4 и последующее направление в лагерь уничтожения — обычный кадровый лист превращается в карту передачи опыта. Система сама сохранила движение своих специалистов. Не потому, что собиралась оправдываться перед историей, а потому, что без учёта нельзя управлять персоналом. Чем рациональнее была администрация, тем больше следов она оставляла.

— Получается почти ирония, — сказал Келлер.

— Какая?

— Они нуждались в бумаге, чтобы преступление работало. Теперь без этой же бумаги нам было бы труднее доказать,

как оно работало.

Хардинг кивнул.

— Бюрократия любит память, пока считает, что ей нечего стыдиться.

Келлер посмотрел на фамилии. Бумага не знала слова «стыд». Но именно поэтому была полезна суду. Келлер понимал опасность слишком наглядной схемы, связывающей Т4 с операцией «Рейнхард». Обвинение могло нарисовать стрелку и создать ощущение причинности там, где юридически требовалось доказать конкретные решения. Виктор Брак не руководил Треблинкой, не командовал Собибором и не строил Белжец; это не отменяло другого вопроса — какую роль его аппарат играл в переводе персонала, финансировании и административном продолжении опыта Т4. Хардинг снова напомнил: организационная связь ещё не равна личной вине. Но если документы показывают конкретное действие — перевод людей, кадровое решение, распоряжение, — его нельзя растворить в слове «аппарат». Бумага не знала, что спустя годы каждый участник захочет сделать границы собственной роли уже, чем они выглядели в момент действия.

— Тиргартенштрассе, четыре, — сказал Келлер.

— Да.

— Адрес всё ещё тянется сюда.

В Собиборе и Треблинке немецкий кадровый костяк был сравнительно небольшим. Система использовала вспомога-

тельную охрану, железную дорогу, местную инфраструктуру, труд узников. Каждый выполнял часть.

— Снова раздробление ответственности, — сказал Келлер. — Железнодорожник ведёт поезд. Чиновник составляет расписание. Полиция окружает гетто. Охрана ведёт людей. Один включает двигатель. Никто по отдельности не «делает всё».

— Но целое существует.

— И каждый может прятаться в своей маленькой функции.

Хардинг показал материалы учебного лагеря Травники.

— Вот настоящий учебный центр, если вам нужен буквальный смысл. Но там готовили не врачей, а вспомогательную охрану.

Келлер записал отдельно:

«Травники — подготовка охраны. Не школа врачей».

— Это важно, — сказал он. — Когда-нибудь кому-нибудь захочется придумать школу, где готовили врачей для лагерей смерти. История будет выглядеть удобнее. Но настоящая подготовка проходила не в аудитории.

— Где?

— В работе. В привычке. В первом отборе. В первом убийстве. В первом отчёте, после которого никто не сказал «достаточно».

После обеда Хардинг положил перед ним фотографию молодого врача в очках.

— Ирмфрид Эберль.

Врач Т4. Затем первый комендант Треблинки. В одной биографии помещался переход, который в общей истории можно было принять за слишком удобную схему. Здесь схема была человеком. Келлер несколько минут просто смотрел на фамилию, как будто надеялся найти между должностями отсутствующую строку: момент, когда врач перестал быть врачом. Строки не было.

— А если он не перестал? — неожиданно спросил Хардинг.

— Что?

— Если он сам не считал, что перестал быть врачом. Может быть, именно опыт врача и администратора убийства сделал его пригодным для новой должности.

Келлер почувствовал неприятный холод. Он всё ещё пытался защитить профессию представлением о превращении: был врач — стал преступник. Но биография Эберля могла говорить о другом. Преступник не обязательно снимает с себя прежнюю идентичность. Он может встроить профессиональные качества в новое преступное назначение.

— Т4?

— Бранденбург, Бернбург. Потом первый комендант Треблинки.

Келлер медленно поставил фотографию перед собой.

— Врач — комендант лагеря уничтожения.

— Да.

— Вот его нужно изучить отдельно.

К концу дня на доске появились две надписи:

Т4. **REINHARD** (Рейнхард - нем.). Между ними — стрелки: кадры, техника, организация, привычка, разделение функций. Келлер написал: «Метод переживает первоначальное оправдание». В Т4 ещё требовалось говорить о болезни, «милосердии», неполноценности. В 14f13 — о нетрудоспособности. В операции «Рейнхард» не требовалось доказывать ничего медицинского. Человека убивали по происхождению. Прежняя технология уже могла существовать без прежнего медицинского словаря. Перед уходом Келлер посмотрел на фамилию Эберля.

— Завтра его.

Хардинг кивнул.

— Только не ищите в нём чудовище.

— Почему?

— Потому что тогда ничего не поймёте.

Глава 7. Доктор Эберль

Нюрнберг, 28 ноября 1946 года

Ирмфрид Эберль на фотографии был почти ровесником Келлера. Ему хотелось найти в лице хотя бы намёк на будущую биографию. Это была почти детская потребность: если зло можно распознать по внешности, оно становится безопаснее. Но фотография не давала ничего. Молодой врач, очки, спокойное выражение. Человек, которому можно было бы доверить осмотр ребёнка с температурой или старика

с кашлем. Келлер вспомнил, как часто пациенты оценивают врача по лицу. Спокоен ли. Внимателен ли. Не торопится ли. Доверие возникает задолго до диагноза. Эберль когда-то тоже пользовался этим доверием. И оттого его путь к Т4 казался не историей «чужого», а предупреждением о том, что профессия не защищена от собственных носителей.

— Не ищите момента, когда у него изменилось лицо, — сказал Хардинг. — Его не будет.

— Я ищу момент, когда изменилось решение.

— Вот это, возможно, найдём.

Родился в 1910 году. Учился медицине в Инсбруке. Вступил в НСДАП ещё в 1931-м — до того, как партийный билет стал удобной ступенью карьеры в Германии.

— Значит, идеология появилась раньше должности, — сказал Келлер.

— Похоже на то.

Обычная медицинская биография: университет, экзамены, лечебные учреждения, санаторий, работа врача. Потом — Бранденбург. Келлер несколько раз перечитал переход.

— Где промежуточная ступень?

— Между чем?

— Между врачом и медицинским руководителем центра убийства.

Хардинг пожал плечами.

— Возможно, вы ищете одно событие, которого не было. Это раздражало сильнее всего. Если бы существовал один

очевидный перелом — убийство, наказание, психический срыв, — всё становилось бы легче. Но биография текла без красивой пропасти. Келлер начал видеть другую подготовку. Национал-социалистическая медицина всё чаще говорила не о конкретном пациенте, а о *Volkskörper* (Народное тело - нем.). Наследственное здоровье. Расовая гигиена. Полезность. Отдельный человек превращался в клетку большого организма.

— Язык приходит раньше действия, — сказал Келлер. — Если общество становится телом, человека легко назвать больной клеткой. А больную клетку удаляют.

В Бранденбурге Эберль был медицинским руководителем. Не наблюдателем со стороны. Врачом внутри работающего механизма. Он осматривал, определял фиктивные причины смерти, участвовал в газовых убийствах. Слово «руководитель» тяжело действовало на Келлера. Оно означало не только присутствие. Организация предполагает повторяемость и ответственность за то, чтобы процесс не зависел от случайности. В обычной клинике хороший руководитель следит, чтобы операции начинались вовремя, стерилизация работала, персонал не делал ошибок, пациенты не оставались без помощи. Здесь та же управленческая способность обслуживала обратную цель.

Келлер представлял рабочий день центра и каждый раз останавливал себя, когда воображение начинало придумывать детали, которых не было в документах. Но некоторых

вещей придумывать не требовалось. Были транспорты. Были люди. Был газ. Были свидетельства о смерти. Была статистика. Бумаги давали скелет дня, и этого было достаточно, чтобы увидеть, насколько будничной могла стать система. Не каждый день преступник ощущает себя преступником. Чаще он ощущает себя человеком, у которого много работы. Эта мысль показалась Келлеру одной из самых опасных за всё время.

— Самый важный момент — первый раз, — сказал Келлер.

— Уверены?

Он уже хотел ответить «да», но остановился. До первого открытия газа существовали согласие работать в Т4, принятие идеи «недостойной жизни», согласие оценивать пациентов как объекты государственной задачи. Первый газ был уже результатом предыдущих решений.

— Нет. Я опять ищу границу слишком поздно.

Когда Бранденбург закрыли, Эберля не наказали и не отстранили от медицины. Его перевели в Бернбург вместе со значительной частью опытного персонала.

— Готовая бригада, — сказал Келлер.

В Бернбурге особенно поражало соседство. В одном медицинском учреждении продолжали жить и лечиться пациенты. В другой части людей убивали газом.

— Через стену две медицины, — сказал Келлер. — Там лекарство дают, чтобы человек жил. Здесь врач открывает

газ, чтобы умер.

Бернбург использовали и для 14f13. Психиатрические пациенты, затем заключённые концентрационных лагерей. Категория расширялась, врач оставался. Весной 1942 года Эберль оказался в структуре операции «Рейнхард». В июле стал первым комендантом Трешлинки.

— Командный опыт?

— Практически нет.

— Тюремная администрация?

— Нет.

— Тогда его главная квалификация...

Хардинг закончил:

— Опыт массового убийства.

Трешлинка быстро показала пределы способности Эберля организовать процесс. Транспорты из Варшавского гетто шли в огромном количестве. Лагерь не справлялся. Тела не успевали убирать. Поезда задерживались. Секретность разрушалась самым масштабом смерти. Келлер не хотел подробно представлять лагерь и всё же видел главное: масштаб разрушил даже ту ложную аккуратность, которая существовала в центрах Т4. Там система стремилась скрывать убийство за медицинским ритуалом и документами. Здесь поток людей стал настолько огромным, что тела, поезда, запах и задержки сами разоблачали назначение места.

Он думал об Эберле не как о человеке, внезапно обезумевшем от жестокости, а как о руководителе, столкнувшемся

с производственной задачей, которую не смог организовать. Именно такая формулировка была невыносима. Если подсудимый или участник системы рассуждает категориями потока и пропускной способности, значит, жертва исчезает ещё до физической смерти — сначала как человек, затем как единица процесса. Эберль оказался слишком плохим организатором Треблинки. Эта фраза звучала почти как служебная характеристика. Келлер повторил её вслух и почувствовал, как язык сопротивляется собственному содержанию. Иногда самое страшное в истории — когда грамматика остаётся нормальной.

За первые недели при Эберле были убиты сотни тысяч людей.

— И его сняли, — сказал Хардинг.

— За убийства?

— Нет. За хаос и неспособность организовать лагерь должным образом.

Келлер встал.

— Вот это, пожалуй, самое страшное.

— Почему?

— Потому что показывает норму системы. Если человека снимают за преступление — преступление всё ещё отклонение. Если снимают за плохую организацию преступления — отклонением стала неэффективность.

Эберля заменили людьми, лучше справлявшимися с организацией массового убийства. Келлер прочитал этот эпи-

зод и долго не переворачивал страницу. В системе существовала профессиональная неудовлетворённость — но направлена она была не на сам факт массового убийства. Ошибкой считался хаос. Задержки. Неспособность переработать поток транспортов. То есть норма уже сместилась настолько, что нравственный вопрос исчез из оценки работы.

— В больнице главного врача снимают, если смертность растёт из-за плохой организации, — сказал Келлер. — Здесь человека сняли потому, что смерть была организована недостаточно хорошо.

Хардинг тихо ответил:

— Да. Это короткое «да» оказалось тяжелее длинных объяснений. Келлер понял: факт не нужно усиливать. Иногда он уже содержит собственный ужас. Задача свидетеля, врача или любого человека, пытающегося сохранить правду, — не украшать его, а позволить смыслу дойти до конца.

Келлер снова посмотрел на фотографию. Не чудовище на снимке. Доктор медицины. Человек, умевший лечить. Знавший анатомию, диагностику, больничную работу.

— Он когда-то действительно лечил людей?

— Да.

— Значит, знал смысл профессии.

— Да.

— Тогда незнание отпадает.

— Что остаётся?

— Выбор.

Келлер вдруг спросил, почему Эберля нет среди двадцати трёх. Вопрос оказался почти детским, но за ним стояло всё его растущее недовольство границами суда. Один человек прошёл от Т4 к Треблинке — и всё же не сидел сейчас напротив американских судей. Другие, чья роль могла быть уже или спорнее, сидели.

— Суд никогда не совпадает с историей полностью, — сказал Хардинг. — Кто-то умер. Кто-то скрылся. Кого-то будут судить в другом месте. Кого-то не найдут.

— Тогда приговор создаст ложное ощущение завершённости.

— Только если читатель решит, что скамья подсудимых равна всей системе.

Келлеру это не понравилось, но он понимал. Суд обязан быть конечным: конкретное дело, конкретные люди, конкретные обвинения. История не обязана иметь конец. Поэтому образ Эберля становился для него важным именно вне процесса — как напоминание, что двадцать три человека не исчерпывают ни медицинские преступления, ни переходы кадров, ни ответственность эпохи. Он записал: «Не превращать отсутствие на скамье в отсутствие из истории».

К вечеру Келлер написал:

«Недостаточно знать, что врач был способен лечить. Важно, кого он перестал считать достойным лечения».

И ещё:

«Не обязательно перестать быть врачом. Иногда достаточ-

но сузить круг тех, перед кем ощущаешь врачебную обязанность».

Позднее, сидя в маленьком кафе, он смотрел на женщину, кормящую ребёнка хлебом, на двух мужчин, спорящих о футболе, и думал: Эберль тоже пил кофе. Смеялся. Читал газету. Жил обычными часами между необыкновенными преступлениями. Он написал на салфетке:

«Преступник не перестаёт быть обычным человеком. Поэтому обычность не является защитой от преступления».

На следующий день Хардинг положил перед ним новую папку.

SCHUMANN (Шуман - нем.).

Келлер прочитал фамилию.

— Графенек. Зонненштайн. Потом Освенцим.

— Да.

— Значит, Эберль показал путь врача к коменданту. Шуман покажет другой путь.

— Какой?

— Врач останется врачом. И именно в этом будет проблема.

Глава 8. Доктор Шуман

Нюрнберг, 29 ноября 1946 года

Хорст Шуман выглядел на фотографии как врач районной больницы. Очки, спокойное лицо, ничего, что позволяло бы увидеть будущую историю заранее. Он был медицинским руководителем Графенека, затем работал в Зонненштайне и

участвовал в комиссиях 14f13. Келлер провёл линию:

Grafeneck → *Sonnenstein* → *14f13* → *Auschwitz* (Графенек → Зонненштайн → 14f13 → Освенцим - нем.).

— Четыре этапа, — сказал он.

— Только не превращайте биографию в слишком красивую причинную схему.

Келлер зачеркнул стрелки и оставил даты.

— Последовательность всё равно существует.

В материалах Освенцима речь шла о поиске метода массовой стерилизации. Государственная задача формулировалась практично: лишить большое число людей способности иметь детей, желательно быстро, дёшево и без длительного отрыва от труда. Келлер представил рентгеновский кабинет до войны. Чистая комната, тяжёлый аппарат, запах нагретой пыли, техник просит пациента не двигаться. Всё вокруг организовано так, чтобы увидеть болезнь, не причиняя лишнего вреда. В Освенциме внешний облик технологии сохранялся, но цель была обратной. Это особенно пугало: преступление не всегда нуждается в новых инструментах. Ему достаточно изменить назначение старых.

Он провёл пальцем по схеме аппарата и вспомнил, как молодой врач впервые учится бояться невидимого излучения. Страх там профессионально полезен — он заставляет уменьшать дозу, защищать пациента, не делать лишний снимок. У Шумана знание опасности не исчезло. Оно стало условием расчёта повреждения.

— Если врач знает, чего бояться для себя, — сказал Келлер, — он не может честно сказать, что не понимал, что делает другому.

Хардинг не ответил. На некоторых документах действительно не требовалось комментария. Келлер прочёл несколько строк и отложил документ.

— Это уничтожение, растянутое на поколение.

Метод Шумана — рентгеновское облучение половых желёз. Два аппарата. Защитная кабина оператора. Свинец. Келлер остановился именно на свинце. Свинец. Защита оператора. Контроль дозы. Всё это было знакомо и правильно. Любой радиолог знает: невидимое излучение опасно именно потому, что человек не чувствует его в момент воздействия. Врач обязан защищать себя и персонал. Но на схеме Освенцима защита врача становилась почти нравственным признанием. Опасность известна. Она настолько реальна, что специалист прячется за свинцом. И в тот же момент заключённый получает ту дозу, от которой специалист защищает собственное тело.

Келлер вспомнил старого преподавателя радиологии, который ругал студентов за лишнюю секунду экспозиции. «До-за — это ответственность, господи. То, чего не видно, не становится безопаснее». Тогда фраза казалась профессиональной педантичностью. Теперь она звучала как приговор.

— Здесь невозможно сказать: они не знали риска, — произнёс Келлер.

— Да.

— Свинцовая стенка доказывает знание лучше любой поздней декларации.

— Врач защищён.

— Да.

— Значит, риск излучения понимает.

— Разумеется.

— Но человеку перед аппаратом защита не нужна, потому что повреждение и есть цель.

Мужчин и женщин, в основном еврейских заключённых, облучали. Затем часть подвергали операциям — удалению яичников или яичек — чтобы исследовать ткань и оценить эффект. Смысл этих операций Келлер понял сразу и оттого испытал почти профессиональное отвращение. Ткань нужно было исследовать. Яичники или яички удаляли, чтобы увидеть под микроскопом, насколько излучение повредило клетки. В нормальной клинике ткань удаляют, потому что операция нужна пациенту, а исследование помогает уточнить диагноз или дальнейшее лечение. Здесь человек существовал ради материала. Разница могла показаться философской только тому, кто никогда не стоял у операционного стола. Для хирурга она абсолютна. Скальпель оправдан не тем, что способен дать знание. Он оправдан правом и интересом того, чьё тело вскрывают. Если этот центр исчезает, остаётся техника без медицины.

Келлер написал в блокноте: «Точный разрез не становит-

ся нравственно точным только потому, что выполнен умелой рукой». Келлер отошёл к окну. В обычной клинике ткань после операции исследуют ради пациента: определить диагноз, границы опухоли, дальнейшее лечение. Здесь человека оперировали ради ткани.

— Вот подмена, — сказал он. — В медицине материал берут у человека. Здесь человек существует ради материала.

Он написал:

«Врач не имеет права превратить человека только в материал».

Хардинг напомнил: любое исследование работает не только ради непосредственной пользы участника. Доброволец может рискнуть ради будущих пациентов.

— Тогда граница не в том, получает ли сам участник пользу, — сказал Келлер.

— А в чём?

Он посмотрел на слово «согласие».

— В том, может ли человек знать, что с ним сделают, принять риск и отказаться.

— Даже после начала?

— Да. Иначе он пленник собственного решения.

Так появились первые пункты в его блокноте. Добровольное согласие. Возможность отказаться. Ограничение риска. Обязанность прекратить опасный эксперимент. Реальная научная необходимость. Он не называл это кодексом. Это были просто попытки врача сформулировать то, что наруша-

лось в каждом документе. Материалы по стерилизационным опытам показывали ещё одну будущую трудность обвинения. Виктор Брак мог быть далёк от рентгеновского аппарата и операционного стола; поэтому суду предстояло доказать не чужие действия, а его собственную административную инициативу, интерес к массовой стерилизации и прохождение результатов по системе. Для Келлера это стало важным уроком: идея и организационное обеспечение могут быть частью преступления, но их нельзя просто объявить равными руке, которая непосредственно причиняет повреждение, — связь нужно доказать.

Точность здесь работала не на оправдание и не на обвинение, а на право. Каждый документ следовало ограничить тем, что он действительно подтверждает. Келлер неожиданно почувствовал, что именно такая сдержанность делает картину сильнее: бумаге нельзя приписывать больше, чем она видела. Именно поэтому его собственные десять будущих правил рождались не как обвинительный лозунг, а как попытка провести границу там, где документы показывали отсутствие границы. Особенно поразил итог работы Шумана. После тяжёлых облучений, ожогов, операций и повреждений вывод касался практической пригодности метода. Рентгеновская стерилизация оказалась недостаточно быстрой и надёжной для массового применения; хирургическая кастрация представлялась эффективнее.

Вот здесь бумага снова стала для Келлера главным свиде-

телем. Итоговый профессиональный вывод не говорил: эксперимент недопустим, потому что люди не давали согласия; не говорил: повреждения слишком жестоки; не говорил: врач не имеет права делать такое с заключённым. Он оценивал метод по пригодности. Надёжность. Скорость. Массовое применение. Сама постановка задачи оставалась неприкосновенной. Келлер долго сидел над листом, чувствуя почти физическую усталость. Если человек пишет отчёт после боли, ожогов, операций и смертей и главным выводом становится недостаточная эффективность метода, значит, нравственный вопрос был исключён ещё до начала исследования. Бумага фиксировала не только результат — она фиксировала отсутствие определённого вопроса.

И тогда Келлер впервые начал записывать собственные правила. Не как юрист. Как врач, которому стало страшно от того, насколько далеко можно уйти, если считать этику чем-то внешним по отношению к науке.

— После всего этого результат: метод неудобен, — сказал Келлер.

— По существу — да.

— Не «недопустим». Не «слишком опасен для человека». Просто недостаточно эффективен.

Он закрыл папку.

— Это не научный провал. Нравственный.

Шуман был особенно важен для Келлера потому, что оставался врачом внешне и профессионально. Эберль в

Треблинке стал комендантом. Здесь же сохранялись аппарат, дозы, операция, гистология, отчёт. Все внешние признаки медицинской науки.

— Значит, вопрос меняется, — сказал Келлер.

— Как?

— Может ли методически серьёзное исследование быть преступлением?

— Ответ?

— Конечно. Если человек в нём лишён права быть человеком.

Хардинг задал провокационный вопрос:

— А если результат спасёт тысячу лётчиков?

Келлер раздражённо прошёлся по комнате.

— Полезная цель не даёт бесконечного права на средство.

— Где предел?

— В человеке. В его добровольном участии. В риске, который он понимает и принимает. В возможности уйти.

К вечеру список принципов стал длиннее. И всё же Келлер чувствовал: он пишет не этику из теории. Он просто переворачивает нарушения. Не спросили — значит, согласие необходимо. Не позволили отказаться — значит, право отказаться обязательно. Продолжали при тяжёлых повреждениях — значит, врач обязан иметь предел. Использовали человека потому, что власть предоставила его тело, — значит, доступность не создаёт права.

Ночью он записал:

«Тело человека прежде всего принадлежит самому человеку».

Фраза показалась ему грубой, почти имущественной, но пока другой не находилось.

Утром Хардинг принёс папку **PREPARATION — PROSECUTION** (Подготовка — обвинение - англ.).

— Возвращаемся к Нюрнбергу.

— Уже?

— Девятого декабря обвинение начнёт представлять дело.

Келлер посмотрел на фотографию Шумана. Т4 вывела их к лагерям. Теперь нужно было понять, как все эти линии будут звучать в суде — и как не превратить сложную историю в слишком удобную схему.

Глава 9. После «эвтаназии»

Нюрнберг, 2 декабря 1946 года

Келлер пришёл раньше Хардинга и разложил на столе четыре листа. Он чувствовал почти раздражение от собственной тяги к схемам. Схема успокаивает. Она обещает, что у ужаса есть архитектура, которую можно однажды понять целиком. Но чем больше он работал с материалами, тем яснее видел: система не была аккуратной машиной с одной рукояткой. Ведомства спорили. Полномочия пересекались. Одни люди действовали по приказу, другие предлагали собственные инициативы, третьи приспособливали уже найденные методы к новой задаче. Это не уменьшало вины. Наоборот, делало картину страшнее. Если для преступления не

нужен единый злой гений, если достаточно множества профессионалов, каждый из которых добросовестно выполняет свою функцию внутри ошибочно принятой цели, тогда повторение возможно гораздо легче.

— Я всё время ищу центр, — признался Келлер.

— Потому что центр удобно обвинять, — ответил Хардинг.

— И удобно считать, что без него всё остальное не произошло бы.

— А если центр не один?

Келлер посмотрел на разложенные листы.

— Тогда ответственность приходится возвращать каждому человеку отдельно.

Т4.

14f13.

REINHARD (Рейнхард - нем.).

EXPERIMENTE (Эксперименты - нем.).

Перед ними положил пятый:

ЧЕЛОВЕК.

Когда Хардинг вошёл, он остановился у двери.

— Лекция?

— Попытка не утонуть.

— В чём?

— В программах. Они начинают выглядеть как разные истории.

— Они и были разными.

— Организационно — да. Но в центре повторяется одно. Келлер начал объяснять. В Т4 человек сначала пациент, которого превращают в объект оценки: стоит ли сохранять его жизнь. В 14f13 — заключённый, ценность которого измеряют трудоспособностью. В «Рейнхарде» медицинское оправдание практически исчезает, человека уничтожают по происхождению. В экспериментах человек нужен живым — но как средство получения знания. Он начал перечитывать не события, а глаголы документов. «Отобрать». «Предоставить». «Провести». «Разрешить». «Использовать». «Сообщить». Почти нигде не было слова «мучить». Почти нигде — «убить». Язык системы избегал нравственных глаголов, потому что нравственный глагол требует субъекта. Кто убил? Кто разрешил? Кто выбрал? Пассивная формула позволяет действию как будто произойти само.

— Посмотрите, — сказал Келлер Хардингу. — Бумага не только свидетель. Она ещё показывает, как человек пытается исчезнуть из собственного действия.

— Через язык?

— Да. «Было проведено». Кем? «Были отобраны». Кто отобрал? Суд делает обратное: возвращает субъект в предложение.

Хардинг медленно улыбнулся.

— Это, доктор, уже почти хорошая юридическая теория.

— Нет. Это грамматика ответственности.

Келлер написал два выражения:

«лишний человек».

«полезный материал».

И соединил.

— Противоположности, — сказал Хардинг.

— А результат один: человек перестаёт быть целью.

Они несколько часов разрушали собственную красивую схему. Брандт не руководил каждым центром Т4. Брак не определял каждое медицинское решение. Эберль не создавал всю систему «Рейнхарда». Шуман не был единственным врачом стерилизационных опытов. Не существовало единого кабинета, из которого кто-то управлял всеми преступлениями. Келлер зачёркивал стрелки.

— Разочарованы? — спросил Хардинг.

— Наоборот. Если бы всё шло одной цепью, было бы проще. Один приказ. Один центр. Один преступник. Реальность опаснее: много ведомств, инициатив, конкуренции, людей, которые сами предлагают методы.

— Система без одного мозга.

— Да.

Это подвело их к проблеме суда. Система не может сидеть на скамье. Но и отдельный человек не может спрятаться за системой, если сам принимал решения. Разбирая структуру дела, Келлер видел, что защита Карла Брандта неизбежно будет дробить обобщённое обвинение на отдельные программы: где он присутствовал, что знал, какими полномочиями обладал в конкретную дату. Юридически это было не

уловкой, а необходимостью. Но у Келлера возник другой вопрос: может ли человек, обладающий большим влиянием, быть невиновным в конкретном преступлении и всё же нести ответственность за профессиональную среду, которую помог создать? Суд не мог смешивать уголовную и нравственную ответственность. Но Келлеру необходимо было удерживать обе рядом, не выдавая одну за другую.

Он записал: «Суд спрашивает: что сделал человек? История спрашивает ещё: что стало возможным благодаря тому, что такие люди считали допустимым?» Келлер сделал колонки:

Знал. Участвовал. Руководил. Предлагал. Мог отказаться. Мог остановить.

— Вас мучает «мог», — заметил Хардинг.

— После войны слишком легко сказать «не мог». Но иногда действительно не мог. Значит, нельзя говорить о выборе, не спрашивая о цене отказа.

Они обсуждали приказы, войну, подчинение. Келлер вспомнил полевой госпиталь, где старший хирург заставлял выбирать, кого оперировать первым. Там тоже существовал отбор — но отбор ради спасения максимального числа людей, а не ради назначения кого-то на смерть.

— Вот разница, — сказал он. — В госпитале мы решаем, кому помочь первым. В 14f13 врач решает, кого государство больше не хочет сохранять.

К середине дня у него появился новый список:

1. Отказ видеть в человеке самостоятельную ценность. 2. Решение о его теле принимается без него. 3. Медицинский язык оправдывает власть. 4. Ответственность дробится между многими. 5. Каждый может считать свою часть слишком маленькой для преступления. 6. Профессиональное знание может эффективно служить преступной цели. 7. Защита человека не может зависеть только от добрых намерений отдельного врача; нужны признанные границы его власти. Хардинг задержался на последнем.

— Вот это важно.

— Потому что намерения нельзя проверить?

— И потому что люди искренне способны считать себя добрыми.

Келлер понял: он всё время искал нравственного врача, который сам остановится. Но Т4 доказывала, что одной надежды на личную совесть недостаточно. Человек может убедить себя, что государственная задача выше пациента.

— Значит, нужны правила, которые действуют даже тогда, когда врачу кажется, что он прав, — сказал он.

— Закон.

— Или профессиональный предел.

Разговор на этом не закончился. Келлер впервые вслух спросил, что будет с немецкой медициной после суда. Не с обвиняемыми — с тысячами врачей, которые продолжают работать в клиниках, преподавать студентам, подписывать истории болезни. Можно ли просто убрать преступников и счи-

тать профессию очищенной? Эта мысль казалась ему слишком удобной.

— Если мы объясним всё двадцатью тремя людьми, молодые врачи решат, что проблема была в характерах, — сказал он. — Достаточно быть порядочным, и правила не нужны.

— А вы думаете, правила важнее характера?

— Характер меняется под давлением. Правило существует именно для момента, когда человек убеждён, что его исключение оправдано.

Он подумал о собственной будущей клинике. В ней тоже будут пациенты без сознания, дети, люди с психическими нарушениями, заключённые, солдаты. То есть те, чья способность защищать собственную автономию ограничена. Именно уязвимый человек больше всего зависит от нравственной дисциплины врача. Впервые возвращение к обычной медицине стало для Келлера не бегством от процесса, а возможным продолжением его работы. Возможно, после Нюрнберга лечить означало ещё и помнить, почему профессия нуждается в границах. В материалах подготовки обвинения уже лежали названия будущих блоков: высотные эксперименты, замораживание, малярия, сульфаниламиды, кость и мышца, морская вода, сыпной тиф, стерилизация, яды.

Список выглядел как содержание чудовищного учебника. Келлер провёл по нему пальцем и вдруг ощутил усталость заранее. Ему казалось, что после T4 он уже понял предел. Потом появился 14f13. Потом Эберль. Потом Шуман. Каж-

дый новый блок доказывал, что у системы нет одного окончательного дна — есть только следующая область, где человек соглашается применить уже освоенный принцип. Он вышел на несколько минут во двор суда. Там санитар американской части перевязывал солдату палец, порезанный консервной банкой. Простая рана. Йод. Бинт. Шутка о неудачном завтраке. Келлер смотрел и чувствовал почти болезненную благодарность к нормальной медицине. Вот её масштаб: один человек, один палец, необходимость уменьшить боль и предотвратить инфекцию. Может быть, думал он, главное сопротивление любой системе начинается именно здесь — с неспособности перестать считать конкретного человека достаточной причиной для действия.

Келлер смотрел на список.

— Мы почти ничего ещё не прочитали.

— Т4 была только началом вашего пути.

Он заметил фамилии четырёх польских свидетельниц из Равенсбрюка. Ядвига Дзидо. Владислава Каролевская. Мария Кусмерчук. Мария Броль-Платер.⁸

— Они приедут?

— Да.

— Живые?

— Именно поэтому они важны.

Келлер закрыл список. Документы скоро должны были получить лица.

Глава 10. Девятое декабря

*Нюрнберг, 9 декабря 1946 года*¹²

Келлер проснулся до будильника. Дата сама разбудила его. До сих пор существовали обвинительное заключение, подготовка, папки. Сегодня обвинение должно было публично объяснить, что именно произошло. Город жил обычным зимним утром. У булочной стояла очередь. Мужчина в старой шинели вёз уголь. На перекрёстке американский грузовик обдал грязью тротуар. Исторический процесс не отменял хлеб, холод и работу. Хардинг встретил его в коридоре.

— Сегодня просто слушайте.

— Я и собирался.

— Не отдельные документы. Слушайте, как обвинение соединит всё в одну историю.

Келлер усмехнулся.

— Вы всё ещё боитесь красивых схем.

— Всегда.

Зал заполнился журналистами. Подсудимых ввели. Карл Брандт сел, поправил наушники. Виктор Брак говорил с адвокатом. Гебхардт листал документы. Оберхойзер сидела почти неподвижно. Шорох бумаги, кашель, щелчки наушников, запах влажной формы — всё было буднично и почти театралью одновременно. Фотографы выбирали ракурс, потому что история должна была получить изображение. Келлеру это не нравилось. Камера любит лицо подсудимого, крупный жест, сильную эмоцию. Но настоящее дело будет состоять из часов чтения, уточнений и скучных вопросов о датах.

Тейлор перед началом речи несколько минут просматривал листы, не проявляя внешней торжественности. Келлер подумал, что для обвинителя эмоциональная сдержанность тоже является дисциплиной. Если прокурор покажет слишком много гнева, защита назовёт процесс местью победителей. Если слишком мало — публика решит, что он не понимает масштаба. Нужно было держать равновесие между человеческим возмущением и юридической точностью.

В этом Келлер неожиданно увидел сходство с врачом у тяжёлого больного. Паника не помогает, но полное отсутствие чувства пугает. Профессионал должен чувствовать достаточно, чтобы не потерять человека, и владеть собой достаточно, чтобы не потерять точность. Келлер подумал: они знают большую часть того, что сейчас услышат. Для них это не откровение. Для мира — ещё да. После процедур слово получил Телфорд Тейлор. Он начал без театральности. Подсудимые обвиняются в убийствах, пытках и других злодеяниях, совершённых от имени медицинской науки. Келлер ожидал обвинительной риторики и почти готовился внутренне сопротивляться ей. Но первые минуты принесли другое ощущение: речь была строже, чем газетный заголовок, и шире, чем отдельный документ. Тейлор пытался назвать то, что в папках существовало разрозненно. Для обвинения это было необходимо; для суда — опасно. Чем убедительнее общая картина, тем легче забыть, что каждый подсудимый должен быть привязан к ней доказательством, а не атмосферой.

На скамье Брандт слушал именно это. Он слышал не только слова о жертвах — он слышал конструкцию обвинения и искал её слабые места. «От имени медицинской науки» звучало сильно, но Брандт внутренне спорил: медицина не единая, ведомства разные, программы разные, ответственность различна. Его профессиональная привычка классифицировать теперь служила защите. И в этом тоже была своя правда. Брак, напротив, мог чувствовать опасность связей. Для него не отдельное слово, а последовательность слов — Т4, стерилизация, лагеря — превращалась в коридор, по которому обвинение собиралось вести суд к его роли. Гебхардт, вероятно, ждал момента, когда медицинский спор о сульфаниламидах будет отделён от нравственного обвинения. Оберхойзер сидела в том же зале и слышала, как профессия, которую она считала своей, становилась частью обвинительного нарратива.

Келлер смотрел на них и впервые понял: один и тот же факт в зале суда существует сразу в нескольких сознаниях. Для обвинителя — звено дела. Для защитника — предмет проверки. Для подсудимого — угроза, которую нужно объяснить. Для свидетеля — кусок жизни. Для врача-эксперта — нравственная проблема. Только бумага остаётся одинаковой. Келлер сжал карандаш. От имени медицины. Это было точнее, чем просто «врачами». Преступление можно совершить вопреки профессии — врач может выстрелить в человека, и медицина тут ни при чём. Но можно использо-

вать сам авторитет профессии, её инструменты, её язык. Он вдруг вспомнил не лагерь, а собственную первую операционную. Запах эфира. Белые стены. Профессора, который говорил студентам, что больной доверяет врачу самое уязвимое — тело в момент слабости. Тогда эти слова казались высоким, почти церемониальным описанием профессии. Теперь обвинение показывало, как именно это доверие можно превратить в инструмент.

Медицина опасна не только потому, что врач имеет знания. Она опасна тем, что общество заранее разрешает врачу приблизиться. Раздеть. Осмотреть. Прикоснуться. Сделать инъекцию. Усыпить. Разрезать. Большинство людей соглашается на действия, которые в другом контексте сочло бы насилием, потому что верит в цель врача. Если цель меняется, сама структура доверия становится оружием. Келлер впервые почувствовал не только гнев на конкретных обвиняемых, но и тревогу за профессию как институт. Вернуть доверие будет сложнее, чем вынести приговор. Тейлор говорил о жертвах. О большинстве, которые мертвы. О немногих, способных прийти в зал.

Келлер смотрел на обвиняемых и запрещал себе угадывать мысли по лицам. Потом речь перешла к превращению людей в категории. Евреи. Поляки. Русские. Цыгане. Заключённые. Подопытные. Масштаб требовал множественного числа, но множественное число легко стирало имя. Келлер написал:

«Масштаб не должен лишать жертву имени».

Тейлор описывал расовую гигиену, стерилизационные законы, подчинение медицинской профессии государственным задачам. Келлер чувствовал внутреннее сопротивление широким формулировкам. Не вся немецкая медицина. Не каждый врач. Нельзя сделать профессию подсудимой вместо людей. Но нельзя было отрицать и среду, в которой пациент всё чаще уступал место абстракции — народу, расе, армии. Затем начались перечисления экспериментальных программ. Высота. Переохлаждение. Малярия. Сульфаниламида. Кость, мышцы, нервы. Морская вода. Стерилизация. Сыпной тиф. Яды. Зажигательные вещества. Для неспециалиста это был перечень. Для врача каждое слово вызывало нормальное лечебное применение — и от этого становилось тяжелее.

Рентген должен диагностировать. Сульфаниламид — лечить инфекцию. Хирургия — восстанавливать. Эксперимент — улучшать лечение. Здесь всё было перевёрнуто. Когда речь дошла до Т4, Келлер посмотрел на Карла Брандта. Тот слушал спокойно. Что чувствует врач, когда решение, которое он когда-то мог считать медицинским, теперь называется убийством? Неизвестно. Две системы слов столкнулись в одном зале.

«Милосердная смерть» — «убийство».

«Государственная необходимость» — «преступление против человечности».

«Эксперимент» — «насилие над человеком».

Суд должен был решить не красивее ли один язык другого, а какой подтверждается доказательствами и правом. На перерыве Хардинг спросил:

— Ну?

— Слишком широко.

— Я знал, что скажете.

— Но иначе вступление невозможно.

Келлер посмотрел на скамью.

— Задача суда двойная: не позволить системе спрятаться за отдельными людьми и не позволить человеку спрятаться за системой.

В коридоре немецкий адвокат, собирая упавшие бумаги, заметил удостоверение Келлера.

— Медицинская группа обвинения?

— Консультант.

— Немец?

— Да.

— Неудобное положение.

— У подсудимых сегодня хуже.

Адвокат почти улыбнулся.

— Помните, доктор: обвинение тоже строит историю. История обвинения не обязательно равна правде.

— Именно поэтому здесь есть защита.

Эта мысль сначала показалась почти кощунственной после всего прочитанного. Но чем больше он думал, тем яснее

видел: если суд лишит обвиняемого права на точность потому, что преступления чудовищны, он примет тот же принцип, против которого выступает — право зависит от категории человека. Право имеет смысл именно тогда, когда защищает неприятного, ненавидимого, обвинённого.

— Они получают больше процессуальных прав, чем их жертвы получили в лагерях, — сказал Келлер Хардингу во время перерыва.

— Да.

— Иногда это выглядит несправедливо.

— А на самом деле?

— На самом деле это и есть доказательство, что мы не должны строить новый порядок по их правилам.

Хардинг ничего не добавил. Ему нравилось, когда Келлер сам доходил до вывода, который юрист мог бы произнести слишком легко. Разговор понравился Келлеру. Настоящий суд начинался там, где обвинению можно сказать: докажите.

К концу дня Тейлор закончил. Келлер записал:

«Сегодня обвинение рассказало историю. Завтра оно должно начать её доказывать. Это разные вещи».

Келлер понимал и юридическую опасность речи Тейлора для Карла Брандта: если обвинение убедит суд, что разрозненные программы образуют единую систему преступной медицины, высокое положение может начать выглядеть почти автоматическим доказательством знания. Поэтому защита неизбежно будет возвращать суд к датам, компетенци-

ям и конкретным документам. И это требование было законным, каким бы неудобным оно ни казалось обвинению. Гебхардт воспринимал услышанное профессионально. Слово «эксперимент» для него не могло автоматически означать преступление; медицина невозможна без эксперимента. Он собирался объяснять научную задачу, условия войны, цепочку приказов. Но именно в этом и заключался будущий конфликт: обвинение не отрицало научный вопрос — оно отрицало право решать его на несвободном человеке.

Оберхойзер читала перевод речи с другим напряжением. В общей картине процесса она рисковала превратиться в символ — единственная женщина-врач среди подсудимых, легко запоминаемая прессе. Защита должна была настаивать на её конкретной, подчинённой роли. Но человеческая память свидетелей тоже будет конкретной: кто осматривал, кто делал перевязки, кто вводил препараты. Каждый готовился отделить себя от целого. Обвинению предстояло показать, где это отделение законно, а где становится способом спрятаться.

На улице Хардинг спросил, что запомнилось сильнее всего.

— «От имени медицинской науки».

— Почему?

— Потому что преступление, сделанное профессионально, получает видимость разумности. Отчёт. Диагноз. График. Печать. И потому вред может быть больше.

Дома фрау Леман сказала, что слышала о процессе по радио. Потом вспомнила знакомую женщину, чью сестру до войны держали в лечебнице. Её перевели неизвестно куда, затем пришло письмо о смерти от пневмонии.

— Она всегда говорила, что сестра не болела лёгкими, — сказала хозяйка. — Тогда мы думали: что можно сделать?

Эта фраза осталась с Келлером. Он записал:

«Ответственность начинается там, где существовал реальный выбор. Её мера зависит и от того, насколько велик был этот выбор».

Завтра вместо речей должны были появиться бумаги. Документы. Подписи. Даты. И суду предстояло медленно заменить общую нравственную картину вопросом: кто именно сделал что.

Глава 11. Документы

Нюрнберг, 10 декабря 1946 года

На следующий день в зал внесли книги доказательств — толстые папки, фотокопии, немецкие тексты, английские переводы, указатели, номера экспонатов. Келлер взял одну в руки и ощутил её вес. Когда служащие раскладывали папки, Келлер заметил, как один лист соскользнул на пол. Молодой солдат поднял его, выровнял края и положил обратно, не читая. Этот бытовой жест неожиданно поразил: возможно, на листе находилось решение о человеческой жизни, а сейчас он был просто предметом, который нужно не помять. Документ всегда зависим от читателя. В руках чиновника он мог

быть распоряжением. В руках врача — отчётом. В руках родственника — ложной причиной смерти. В руках обвинителя — доказательством. В руках защитника — текстом, который нужно ограничить контекстом. Одна и та же бумага меняла функцию, но не содержание.

Келлер подумал, что именно поэтому документы опасно романтизировать. Они не говорят сами. Человек должен задавать им вопросы. И если вопрос поставлен нечестно, бумага тоже может стать инструментом новой неправды.

— Сегодня это оружие обвинения, — сказал Хардинг.

— Очень медленное оружие.

— Зато иногда точнее обычного.

Обвинение начало не с экспериментов, а с происхождения самих бумаг. Где найден документ. Кто изъял. Где хранился. Кто сделал копию. Кто перевёл. Где оригинал. Для журналистов это было почти мучительно скучно. Где найдено. Кем изъято. Как зарегистрировано. Где оригинал. Кто сделал фотостат. Кто перевёл. Но Келлер быстро понял: именно скука защищает факт от превращения в легенду. Эмоциональная история может жить без цепочки хранения; судебное доказательство — нет. Он смотрел на пачки документов и думал о странной посмертной судьбе канцелярии. Люди, составлявшие бумаги, рассчитывали, что бумага будет помогать управлять системой: передавать приказ, подтверждать расход, фиксировать эксперимент, сообщать результат. Теперь тот же лист становился самостоятельным свидетелем.

Он не раскаивался. Не обвинял. Не просил прощения. Он просто сохранял дату, подпись и формулировку.

— Врач может изменить воспоминание, — тихо сказал Келлер. — Бумага не может решить, что через пять лет всё было иначе.

— Поэтому мы так долго объясняем, что это именно та бумага, — ответил Хардинг.

Сначала Келлер раздражался. Потом понял: бумага существует для суда не потому, что на ней немецкая печать. Её подлинность тоже надо доказать.

— Как лабораторный образец, — прошептал он Хардингу. — Если я не могу доказать, от какого пациента пробирка, результат бесполезен.

— Наконец вы нашли что-то юридическое, что вам нравится.

Потом появилась схема медицинских служб Третьего рейха. Линии подчинения, должности, фамилии. Хандлозер. Шрёдер. Генцкен. Гравиц. Конти. Карл Брандт. Келлер смотрел на схему с недоверием. Реальность всегда была грязнее: пересекающиеся полномочия, конкурирующие ведомства, личные связи с Гиммлером и Гитлером. Но суду требовалась карта. Чем выше должность, тем дальше человек находился от конкретного тела. И тем больше тел могло зависеть от одного решения. После организационных документов начались высотные эксперименты. Дахау. Барокамера. Авиационная медицина. Научная проблема сама по себе бы-

ла законной: что происходит с лётчиком на большой высоте, как спасти при резком падении давления, где предел сознания и дыхания.

Именно это делало дело сложнее.

— Полезная цель, — сказал Келлер.

— Не оправдывает любой метод.

— Я знаю. Но защита будет сильнее именно здесь.

Ключевой документ — письмо Зигмунда Рашера Гиммлеру от 15 мая 1941 года. Начиналось почти по-домашнему: благодарность за поздравления с рождением сына. Потом — научная работа. Опасные опыты на людях. Добровольцев нет. Можно ли предоставить заключённых? Келлер прочитал строку о ребёнке, затем — просьбу предоставить заключённых для опасных опытов. Переход был настолько естественным, что именно он стал ударом. Любовь к собственному сыну и готовность использовать чужого человека как средство не взаимоисключались. Значит, проблема была не в полном отсутствии чувств. Чувства имели границы. Он долго держал копию письма и думал о слове «чужой». Врачебная этика должна, по идее, размывать эту границу у постели больного. Перед тобой может лежать враг, преступник, бедняк, человек другой веры — но боль должна возвращать ему универсальный статус пациента. В письме Рашера происходило противоположное: статус заключённого позволял отнять то, что свободному человеку оставляли — право от-
казаться.^{13, 14}

— Добровольцев нет, — повторил Келлер.

— Да.

— В нормальной науке это означает: метод придётся изменить или исследование остановить.

— Здесь означает: найти тех, кого можно не спрашивать.

Келлер положил лист обратно. Ему казалось, что иногда вся нравственная история эксперимента действительно помещается в одной развилке. Келлер остановился.

— Вот развилка.

— Какая?

— Люди, способные отказаться, не хотят участвовать. Нормальная медицина должна изменить метод или остановиться. Здесь отказ свободного человека становится основанием искать несвободного.

Он записал:

«Отсутствие добровольцев не стало причиной отказаться от эксперимента. Оно стало причиной искать людей без свободы».

Ответ аппарата Гиммлера был административным. Заключённых предоставят. Так человеческое тело становилось ресурсом, которым власть считала себя вправе распоряжаться. Дальше шли письма, согласования, участие авиационных институтов, доставка барокамеры, отчёты. Упоминались Рашер, Руфф, Ромберг, Вельц, Рудольф Брандт. Но Келлер всё время возвращал себя к индивидуальной ответственности. Письмо Рашера доказывает намерение Рашера. Чтобы осу-

дить Руффа, нужно доказать Руффа. Ромберга — Ромберга. Нельзя переносить вину по соседству. Именно на Руффе и Ромберге Келлер особенно остро почувствовал разницу между нравственной очевидностью программы и юридической сложностью конкретной вины. Высотные опыты в Дахау были реальны. Принуждение и смерти были реальны. Но участие отдельных исследователей могло различаться по этапам, знаниям, инициативе, отношению к действиям Рашера.

— Если мы заранее решим, что всякий человек возле ба- рокамеры одинаково виновен, зачем тогда суд? — спросил Келлер.

— Именно, — сказал Хардинг. — Есть документ — спроси, кого он связывает. Есть свидетель — спроси, что он видел сам. Есть подпись — спроси, что означала должность подписанта в этот момент.

Для врача это было похоже на дифференциальный диагноз. Нельзя лечить пневмонию только потому, что больной кашляет. Признак должен войти в систему признаков. Но Келлер тут же насторожился: человеческую ответственность нельзя превращать в диагностическую игру. Аналогия полезна только до тех пор, пока напоминает о необходимости проверять, а не о праве врача решать за человека. Он ещё раз посмотрел на письмо Рашера. Вот здесь связь была прямой. Автор просил заключённых для опасного исследования. Бумага знала своего автора. В других местах суду придётся быть осторожнее. В отчётах появлялись смерти. Не как

катастрофа, автоматически останавливающая исследование, а как данные. Келлер сначала написал эмоциональную формулу и тут же зачеркнул после возражения Хардинга.

— В нормальном исследовании смерть тоже изучают, — сказал тот.

— Верно.

Келлер переписал точнее:

«Преступление не в том, что смерть исследуют. Преступление — сознательно продолжать смертельно опасное принуждение там, где человек не выбирал риск».

К концу дня документы перестали казаться ему мёртвыми. Каждый фиксировал момент выбора. Он увидел в них почти анатомию решения. «Предоставить» — значит, один человек считает, что имеет право передать тело другого. «Разрешить» — значит, чья-то воля превращается в условие допустимости. «Продолжить» — значит, после первых результатов существовал новый момент выбора. «Сообщить» — значит, результаты считались достаточно ценными, чтобы стать частью профессионального обмена. Документ не только фиксировал событие; он иногда показывал последовательность нравственных развилок. Это меняло взгляд Келлера на ответственность. Преступление редко является одним мгновением. Оно может состоять из десятков моментов, когда человек мог остановиться и вместо этого делал следующий административный шаг.

— Вот почему подпись важна не как магический знак ви-

ны, — сказал он. — Она показывает, что действие прошло через чьё-то сознание.

Хардинг поправил:

— Иногда показывает только формальное прохождение. Поэтому мы должны знать контекст.

Келлер кивнул.

— Именно. Иначе и мы начнём обращаться с бумагой так же безлично, как они обращались с людьми.

Попросить. Разрешить. Предоставить. Продолжить. Сообщить результат. Бумага не помнила боли. Она помнила решение.

Дома Келлер добавил к своим принципам:

«Уязвимость человека не даёт исследователю дополнительных прав над его телом. Она увеличивает обязанность защищать».

На следующий день должна была начаться линия замораживания.

За окном лежал снег.

Глава 12. Четыре женщины

Нюрнберг, 15 декабря 1946 года

За несколько дней холод перестал для Келлера быть погодой.

В суде читали отчёты о людях, погружённых в ледяную воду. Температура воды. Температура тела. Пульс. Фибрилляция. Смерть. Потом — способы согревания. Горячая ванна. Постепенное тепло. Контакт с человеческим телом. Келлер

понимал медицинскую логику и всё время заставлял себя возвращаться к первому вопросу: откуда данные? Когда начались материалы малярийных опытов, механизм повторился. Настоящая научная задача. Настоящие препараты. Хинин, атакрин. Настоящее наблюдение. И человек, который не мог сказать «нет». К воскресенью Келлер устал не от работы, а от чисел. Хардинг неожиданно приехал к дому фрау Леман утром 15 декабря.

— Одевайтесь.

— Суд не заседает.

— Приезжают свидетели.

— Равенсбрюк?

— Да.

Он назвал четыре фамилии:

Ядвига Дзидо. Мария Броль-Платер. Мария Кусмерчук. Владислава Каролевская. На вокзале пахло угольным дымом и мокрой одеждой. Поезд опоздал. Келлер ходил по платформе и вдруг понял, что боится смотреть на женщин как на «жертв экспериментов».

— Они приехали не быть вашим уроком нравственности,
— сказал Хардинг. — Они приехали дать показания.

Поезд вошёл в облаке пара. Четыре женщины вышли с чемоданами и дорожной усталостью. Никакой торжественности. Они поправляли шарфы, помогали друг другу, разговаривали по-польски. Он испытал почти стыдное облегчение от их обычности. До этого документы сделали из них носи-

телей доказательств: операция, номер, повреждение, свидетельство. На платформе были пальто, чемоданы, дорожная усталость, неловкость после долгой поездки. Одна поправила шарф другой. Кто-то спросил о багаже. Мир снова возвращал им детали, которые уголовное дело неизбежно отсекает. Келлер поймал себя на профессиональном взгляде почти сразу. Походка Ядвиги. Осторожное движение ноги. Он уже начинал диагностировать и рассердился на себя. Даже сочувствующий врач способен свести человека к повреждению — не из злого умысла, а из привычки видеть прежде всего клиническую проблему.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.